

АЛТАЙ

1966 № 2

Электронная библиотека АКУНЬ, elilib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

1
1
Л
С
А
2
2
3

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: А. Баздырев, Н. Дворцов,
И. Казанцев, Л. Квин (редактор), И. Пантюхов, В. Сергеев, В. Си-
доров, М. Юдалевич.

г
о
г
р
д
л
Е
п
т

б
д
р
с
ж

н
и
д
к
х
к
к

Иван ОЛИФЕРОВСКИЙ

ДРУГ и

ПОДРУГА

Р а с с к а з

1

Пятый класс мы с Митькой окончили с отличием, и нас направили в пионерский лагерь, расположенный в березниках километров за тридцать от нашего села. Возле лагеря было соленое озеро, и мы совсем одичали, пропадая по целым дням то в березнике, то на озере. Вожатые были добрые — не наказывали, понимая, вероятно, что более интересного ничего для нас не придумать. В лесу мы нашли любопытное занятие: забирались на молоденькие березки и, схватившись за макушку, падали вниз. Бедные деревца! Они опускали нас пружинисто до земли, еще немного покачивались и, когда мы от них уходили, стояли, обиженно согнувшись, точно отворачивались от нас.

Вернувшись из лагеря, мы ходили на Чаглинку ловить окуней и чебачков, а когда подул прохладный предосенний ветер, стали по целым дням пропадать на «глинище» и в пришкольном саду. На глинище мы рыли себе пещеры, строили крепости или сидели без дела у пригретой солнцем стены. Ветер, правда, залетал и туда, сыпал в глаза пыль. К тому же на глинище были осы — и злые.

А в саду, особенно в центре, стояла тишина. Мы любили эту тишину и, забравшись в траву, мечтали о том времени, когда окончим школу и станем летчиками. В войну недалеко от нас располагался военный аэродром и, хотя с того времени прошло уже несколько лет, у нас в кладовках все еще хранились сделанные тогда самолеты: из стеблей подсолнухов — бомбардировщики, из картона — истребители, из дерева — двухкрылые ПО-2, которые мы называли «ярмом» — за схожесть с ярмом, в которое запрягали быков.

Однажды наша тишина была нарушена звонким, будто дразнящим

голосом. Пела девчонка, причем незнакомая. Наши деревенские так не умели петь.

Мы осторожно подобралась к крайней аллее и затихли. Девчонка выскочила из хаты с ведром и побежала к колодцу. Странно, она была одета не как все, а в длинные красные шаровары, отливавшие на солнце кумачовым блеском. «Атласные», — с завистью подумал я. А Митька многозначительно сказал:

— Татарка. Нового учителя дочь.

— Откуда ты знаешь? Может, она украинка? — зашипел я Митьке в ухо.

— Все равно — не русская. — Митьку, наверное, смущало то, что она была в шароварах; ведь у нас их тогда не носили.

— Зато вон какая красивая!

— Красивая? — Митька изумленно посмотрел на меня. — Красивые бывают, когда вырастут!

Он как-то странно, тихонько засмеялся и неожиданно крикнул:

— Га!

Девчонка вздрогнула, чуть не уронила ведро и, приставив козырьком ладошку, посмотрела в нашу сторону. А Митька, взвизгивая, уже побежал наутек, раздвигая ветки акации. Что оставалось мне теперь, как не пуститься вслед за ним?

Когда я догнал Митьку в глубине сада, мне почему-то захотелось его отлупить, и я с обидой подумал, что, хоть он и мой друг, а все-таки дурак.

2

Стояли теплые августовские дни. На отяжелевших головах подсолнухов висело тончайшее серебро паутинок. Солнце опять грело по целым дням, будто специально для того, чтобы дозрели схороненные ботвой помидоры.

Меня тянуло в сад.

Митьку я обманывал всякими способами и пробирался в укромное место, которое на всякий случай присмотрел метров за сто от старого, чтобы он меня не нашел. Не знаю, как я объяснял себе тогда эти одиночные вылазки, помню, мне очень хотелось рассмотреть ту девчонку поближе. Она, как новая диковинная игрушка, тянула меня к себе.

Теперь я уже знал, что у нее темно-голубые колкие глаза и что она тоненькая и легкая, как одуванчик. Она так свободно подпрыгивала, когда выгоняла из огорода кур, что, казалось, дунь на нее и она улетит.

Случайно я наткнулся на нее в саду. Она ходила, осторожно наступая на шуршащий лиственный покров, и собирала листья. В руках у нее было несколько ярко-оранжевых и розоватых листиков клена, похожих издали на озябшие гусиные лапки.

Я прошел мимо девчонки, специально глубоко погружая босые ноги в

листву и отчаянно вороша листья направо и налево. Но девчонка промолчала. Тогда я вернулся и сказал:

— А я тебя знаю.

— Хм! — удивленно и недоверчиво произнесла она.

— Ты вот тут живешь, — показал я, будто она сама не знала, где живет.

— Ну и что же? — спросила она.

— Давай дружить!

Она немного подумала, подняла листик:

— А как?

— Чтобы никто не знал! — твердо сказал я.

— Никто-никто? — протянула она.

Я отрицательно покачал головой.

— И папа?

— Конечно!

— А ты кто?

— Вовка.

— А меня знаешь как зовут? Ю-юля! — Ей, наверное, нравилось ее имя, потому что она его почти пропела.

Мы стали собирать красивые листья и складывать их веером в руках.

Юля спросила:

— А мы теперь уже дружим?

Я и сам не знал, дружим мы уже или нет, но на всякий случай сказал:

— Нет еще... Когда начнем учиться, тогда...

Как-то я пошел в райцентр за учебниками, но их там не было, и я возвращался с пустыми руками, голодный и усталый, забросив на плечи свои новые ботинки.

Я хотел идти ближней дорогой, через речку, и уже свернул на нее, взбивая теплую сизую пыль, но увидел в стороне, у шоссе, Юлю. Она сидела в кювете и ела пряники. Я подошел к ней:

— Здравствуй, Юля.

— Здравствуй, — ответила она и чуть отодвинулась, хотя места в кювете было много. — Хочешь пряников?

— Нет, — сказал я, отворачиваясь.

— Знаешь, какие сладкие! Ешь, у меня много...

Я взял пряник. Ел и все отворачивался. Мне было почему-то стыдно.

Мы съели пряники и пошли по шоссе. Я не хотел идти по шоссе. И не только потому, что так было дальше, а, в основном, потому, что шоссе шло через село, где жили задиристые ребятишки. Они поджидали «чужих» в какой-нибудь засаде, выскакивали, требовали семечек, отбирали рыболовные крючки и вообще всячески задирались.

Юля была новенькая и, конечно, ничего этого не знала, а я не решился ей сказать: мало ли что она подумает обо мне!

Втайне я надеялся, что все обойдется и, войдя в село, незаметно прибавил шагу. Но когда мы поровнялись с колхозными амбарами, из-за них вышли «разбойники». Атаманом у них был Петька Завертяев — без рубашки, с торчащими во все стороны волосами. Я знал Петьку, я сам однажды видел, как он нырял прямо с перил моста.

Когда ватага стала приближаться к нам, сердце у меня забилося часто-часто, будто кто-то торопливо стучал по барабану.

Петька преградил дорогу Юле:

— Куда?

— А тебе что? — спросила Юля.

— А макарон хочешь? — заулыбался Петька, подмаргивая своим дружкам.

— Не хочу, пусти!

— Макарон не хочешь? — деланно удивился Петька. — А Москву хочешь увидеть?

— Я была летом в Москве... Уйди отсюда!

В это время один из Петькиных дружков незаметно лег под ноги Юле, а Петька легонько толкнул ее в грудь. В воздухе мелькнули ее голые пятки, а в следующую секунду Петькин помощник уже выбирался из-под Юли.

— А ты чо? — Петька двинулся на меня.

Еще мгновение назад я хотел заступиться за Юлю, но теперь я вздрогнул и стал пятиться — опасность угрожала непосредственно мне.

Петька снисходительно сплюнул:

— Мелочь пузатая! Пошли...

Я подождал Юлю, и мы пошли рядом. Она всхлипывала и прикладывала к глазам косынку. Лицо у меня горело, оно было, наверное, краснее моей красной клетчатой рубашки. Мне никто никогда не говорил этого слова, но тут я сам в такт каждому шагу упрямо твердил себе: «Трус! Трус! Трус!»

В конце концов я не выдержал, остановился:

— Юля, не плачь... Возьми ботинки, я догоню тебя. Иди тихонько, я догоню...

Она перестала всхлипывать:

— Ты к ним?

— Да.

Юля молча взяла мои ботинки, а я пошел, выдергивая на ходу из брук ремень и поддерживая их рукой.

Петька лежал на животе и рассказывал своим дружкам что-то веселое. Я подкрался и стегнул его два раза по спине. Он заорал и вскочил, как кошка. Петька был поражен. Видно, никто еще не решался схватиться с ним.

— Еще хочешь? — выкрикнул я пискляво сквозь нахлынувшие от возбуждения слезы. — Не будешь задевать. Не подходи: пряжкой по морде заеду!

Кто-то из Петькиной шайки все же стукнул меня по глазу. Тогда я стал размахивать ремнем и задел двоих.

— Ну, подойди, подойди! — кричал я.

Однако противники отступили. В меня полетели комки засохшей грязи. Это уже было не страшно, и я пошел назад, то и дело оглядываясь и уклоняясь от летевших вслед комьев.

У речки я умылся и догнал Юлю.

— Ой, Вовка, у тебя будет синяк! Приложи пятак, знаешь, как помогает, — встретила она меня.

Я приложил к глазу поданный ею пятак.

— Больно тебе? — спросила тихонько Юля.

— Нет.

— А ну, дай я посмотрю. — Она отняла от глаза мою руку; я еле сдерживался, чтобы не заплакать. — Я же говорила, что помогает! — радостно сказала Юля. — Уже почти все прошло.

4

В первые дни ученья наша дружба началась с того, что Юля однажды, здороваясь, подала мне руку. Это было так неожиданно, что я покраснел и протянул свою. Хорошо, что тут толпой повалили ребята и наше рукопожатие осталось незамеченным. После этого мне тоже захотелось поздороваться с ней за руку. А потом я каждый день уже стоял, ожидая в углу коридора, Юля подходила ко мне, и мы здоровались, как взрослые. Это была своего рода добрая игра. Игра в какую-то непонятную нам близость, и мы не видели в ней ничего плохого.

Но моя учительница, Анна Васильевна, думала, вероятно, по-другому. Увидев однажды, как мы с Юлей здоровались, она сказала:

— Ай-яй-яй! Нашли занятие...

Мы с Юлей стояли жалкие и красные, с опущенными руками (Юля даже спрятала свою руку за спину), а вокруг уже собирались любопытные. В этот момент мне было только стыдно. Стыдно за то, что мы оказались «на выстойке» перед всеми ребятами. Но когда Анна Васильевна в классе снова начала при всех разговор об этом, я возненавидел ее — с ее черной бородавкой, с ее большими блестящими глазами. Она казалась мне лисой, которая выманивает в окошко петуха, чтобы съесть.

Анна Васильевна, наверное, рассказала обо всем учителям, потому что на уроках они как-то странно смотрели на меня. Даже старушка Берта Оттовна, крымская немка, преподававшая немецкий, когда я плохо ответил, покачала головой:

— Шлехт, ээр шлехт! О чем ты думаль? Как можно гулять с девочкой — дас медхен! — если так плохо отвечать?

После уроков Юля подошла ко мне:

— Давай не будем больше так дружить.

— Почему?

— А ну их!

— А мы назло, Юля!

— Нет, Вова... Папке все рассказали.

Отец Юли — Петр Иванович — преподавал в школе литературу. У него был такой низкий бас, какой я слышал только один раз в кино — у попа. Когда Петр Иванович заговаривал где-нибудь в коридоре, его бас разносился по всей школе. Петр Иванович вел уроки литературы, а сам почему-то говорил: «музэй», «пионер»; наверное, у него с юных лет вошло в привычку.

И вот теперь, когда Юля напомнила о нем, я представил, как будет кричать на меня Петр Иванович своим громовым голосом: «Это еще что такое? Дочь учителя и какой-то мальчишка! Безобразие!» Я, разумеется, не был уверен, что Петр Иванович произнесет именно эти слова, но что-то подобное, по-моему, он должен был сказать.

Дружба у нас с Юлей была своеобразной. Гулять вдвоем по селу, как взрослые, мы не могли. В пришкольном саду до самого снега тоже гуляли только взрослые. К тому же, мой отец любил порядок и меня без дела никуда не отпускал. Как я завидовал своей младшей сестренке! Ей почему-то разрешалось ходить сколько угодно и где угодно.

С Юлей поэтому мы встречались только в школе, мимолетно.

Учителя по очереди водили с нами хоровод, чтобы отвлечь нас от разных соблазнов вроде бросания камней через крышу школы, игры в догоняшки по коридору или, еще хуже, — чехарды.

Обычно дежурный учитель говорил:

— В круг, в круг! Беритесь за руки! А ты куда, Петя (или Витя, или Сема)?

Мы брались за руки, шли по кругу и пели:

— «...Пытали долго, слова не сказала,
не выдала Танюша партизан!»

Пели мы нехотя, вразброд, но когда кончалась перемена, всем обязательно хотелось попеть еще хоть немного.

В этих хороводах я старался очутиться рядом с Юлей и долго потом чувствовал на своей ладони, как сжимались и разжимались ее пальцы в такт песне.

Кино у нас в те годы бывало нечасто, к тому же отец редко давал мне деньги на билет. Вот я и простаивал в нетопленном коридоре, глотая теплый бензиновый дым движка и до оцепенения прислушиваясь к каждому звуку из-за двери школьного зала, где шел фильм.

В ту зиму Юля, узнав, что у меня не бывает денег, стала покупать мне билеты. И хотя кое-кто из мальчишек ехидничал, что я хожу в кино на «ухажоркины» деньги, я окончательно вышел из задверных зрителей.

Невелика, конечно, сумма один рубль, но мне было всегда очень неловко, и я думал про себя, что отдам ей деньги «потом». Все же было интересно, где Юля берет столько денег, и я однажды спросил:

— Тебе отец всегда дает деньги?

— Нет, я сама беру.

— А если он узнает?

— Фи!.. Знаешь, сколько их у нас? Полный кошелек! Да еще у меня целая кошка мелочи.

— Какая кошка?

— Ну, копилка. Вот пойдем, посмотришь.

— Нет, заругается Петр Иванович...

— У него педсовет. Пошли!

Хата у Юли была такая же, как и у всех: саманная, обмазанная глиной, но в комнате было чисто, на кроватях лежали голубые покрывала, на этажерке — много книг и журналов. А самое главное — у Юли было несколько настоящих альбомов для рисования. Я любил рисовать, но мне приходилось это делать на старых газетах, на конвертах; тогда в наших краях было еще трудно с бумагой.

Юля показывала мне копилку, фотокарточки, журналы, но я думал о другом. Мне хотелось развернуть альбом и рисовать, рисовать, рисовать! И я не выдержал:

— Юля, можно что-нибудь нарисовать?.. Вот здесь?

— Можно, можно. На, рисуй!

Я нарисовал хату, около нее — тополя, колодец и девочку с ведрами. Сначала она у меня была в платье, на длинных ногах, потом я дорисовал ей красным карандашом шаровары. Юля увидела и засмеялась. А я сказал:

— Это ты.

— Похоже, — снисходительно подтвердила она.

На второй странице я нарисовал грузовичку и пыль, а вдали элеватор. На следующей я начал рисовать речку с рыбаками, и в это время послышались шаги.

— Папа идет, — тихо сказала Юля.

Я застыл с карандашами в руках. «Исключат из школы!» — почему-то пронеслось у меня в голове.

— Ух ты, у нас, оказывается, гости! — зарокотал Петр Иванович.

Я сжался в комок. Юля сказала:

— Это — Вова из шестого «б».

— Знаю, знаю, дочка. Встречались у доски... Верно?

Я молчал, боясь отвести взгляд от слившихся воедино речки, рыбаков и камыша, а когда посмотрел на Петра Ивановича, то вопреки ожиданиям увидел веселое лицо, с маленькими красными прожилками на выпуклостях скул.

— Ну, что ж ты, Вова, молчишь? Встречались мы у доски или нет? — повторил он с улыбкой.

— Папа, посмотри, он меня нарисовал! — сказала Юля.

— Да ведь он лучше тебя рисует, дочка! А? Безусловно, лучше! Смотри-ка, дочь...

— Нет, я хуже рисую, — тихо сказал я.

— Ишь ты, какой самокритичный, — опять улыбнулся Петр Иванович, и я почувствовал, что он совсем не сердитый, просто у него такой голос, он и в школе так же разговаривает.

— Ну, а обед приготовила, дочь?

— Нет еще.

Я взял шапку и двинулся к дверям:

— Я пойду. До свидания.

— Э, нет! — перехватил меня Петр Иванович. — Погости немного. Меня нарисуеть, и обед как раз будет готов.

— Не смогу я вас нарисовать...

— Не сможешь меня — рисуй, что хочешь! Без всяких церемоний! А мы, дочь, давай обед готовить!

Я снова сел. Мне было очень хорошо. Мне было хорошо оттого, что этот большой человек с громовым голосом так просто, как с равным, говорил со мной и что он совсем не такой, каким я его себе представлял. Какой-то волнующий, радостный туман стоял у меня в голове. Я водил карандашом по бумаге и ничего не видел.

Юля переговаривалась с отцом о разных домашних делах, они смеялись, даже что-то пели, а мне становилось почему-то все обиднее: вот мы с отцом тоже жили одни, без матери, но никогда ничего не делали с ним так дружно, так весело.

И, когда Петр Иванович и Юля вышли в кладовую, я выскочил незаметно на улицу, чтобы они не видели моих слез.

В то время на мне лежало все домашнее хозяйство.

Мне надоело поить и кормить корову, варить обеды и, особенно, чистить картошку.

Однажды утром я взял старую полевую сумку отца, положил в нее хлеба, налил бутылку молока и пошел на станцию. Там я забрался на товарный вагон с углем, и паровоз повез меня неизвестно куда.

На ходу уголь сильно трясло, и колючая угольная пыль не давала мне покоя — летела в нос, в уши, в глаза.

Когда я ступил на перрон в Петропавловске, меня сразу же отвели в милицию. Там я первый раз в жизни топил печку углем и рассуждал с милиционерами о тяготах своей жизни.

Меня передали в детский приемник, а оттуда я попросился в ремесленное училище, где мне сразу выдали форму и отправили на уроки, потому что занятия уже шли недели две.

Высокие каменные дома в городе, строгий распорядок, бесконечный лязг и шум в цехе, где мы практиковались, буквально меня придавили. Мне не хватало степного простора. Я привык всегда видеть далекий горизонт с облаками, а здесь взгляд упирался то в забор, то в дом, то в дерево. Я ходил молчаливый, плохо спал. Я тосковал. Мне хотелось в свое село, в старый тихий пришкольный сад. И хоть кино в ремесленном шло часто и бесплатно, я готов был опять простаивать задверным зрителем, лишь бы попасть туда, где все было свое, родное.

Юля помнилась мне очень четко и ясно, будто я ее видел рядом...

В эти дни я написал первое письмо.

Проходило лето.

А осенью я убежал из ремесленного. Не совсем убежал, а на несколько дней, чтобы съездить к себе.

На своей станции я зайдем сел на попутную машину, потому что шофер мог потребовать денег, а у меня их не было.

Темнело. Машина шла ровно. Я получше завернулся в шинель и уснул... Проснулся от холода. Шинель была мокра, не то от дождя, не то от росы.

Светало. Стояла та особая предутренняя тишина, которая бывает только в селе: изредка услышишь тяжелый вздох коровы или сонное квохтанье курицы — и больше ни звука.

Я выглянул из кузова: прямо передо мной был колхозный гараж, а слева — пришкольный сад!

Спрыгнув с кузова, я пошел в сад.

Не знаю, есть ли еще такие красивые сады или парки, как наш... Вероятно, есть. Но такого, как в то утро, больше никогда в жизни мне видеть не приходилось.

Легкий, еле заметный туман тонкими облачками держался среди деревьев, и они казались висящими в воздухе. Чуть увлажненные росой, листья не шелестели, а только мягко сжимались под ногой и, когда я взглянул назад, на свой след, мне стало жалко, что я по ним прошел.

Я пробрался на то место, откуда первый раз увидел Юлю, и стал смотреть на колодец, на хату, будто Юля могла выйти в такой ранний час.

Я смотрел, пока на глазах не появились слезы, и потом пошел по центральной аллее, чувствуя радостное облегчение.

Днем я был на ферме у отца, сказал ему, что меня отпустили на несколько дней. Отец как-то жалостливо и чуть виновато смотрел на меня и расспрашивал о ремесленном. Видно, он остался доволен тем, что я так быстро стал почти самостоятельным парнем.

Потом я пошел к Митьке.

Он сидел на пороге и учил алгебру. Он, конечно, обрадовался мне, ощупывал и примерял мою шинель, рассказывал, как летом поймал самую большую щуку, показал мне свой новый «поджиг», и мы ушли в огород и там по разу пальнули из него. Ничего был «поджиг». Но когда я показал Митьке зажигалку, которую сам сделал, он не смог сдержаться и предложил обменять ее на нож с наборной ручкой, сделанной им из разноцветных зубных щеток. Я, конечно, не стал скупиться. Мы обменялись. Потом Митька сказал:

— Твоя Юлька гуляет с одним мироновским. Деркач фамилия, учится у нас в школе, в седьмом классе...

«Гуляет» означает: дружит. И я весь похолодел, не зная, что ему ответить. Как он вообще узнал, что мы с Юлей дружили?

— Почему это она моя? — спросил я сердито.

— Да ладно притворяться! — ответил Митька. — Ты дай ему, чтобы он улыбся красной юшкой! Я тебе его покажу. Сегодня пойдем в кино и дадим ему!

— Ладно, мое дело...

— Что, боишься? Хочешь, я ему навешаю?

— Я боюсь? Вот! — Я встал и расстегнул свой форменный ремень с бляхой.

— Пойдет! — с восхищением произнес Митька.

В кино мы пришли поздно, чтобы Юля не заметила меня. После сеанса мы дождались, когда она выйдет со своим ухажером, и отозвали их в сторону.

Юля узнала меня и сказала открыто и радостно, как в дни нашей дружбы:

— Здравствуй, Вова! — и подала руку.

— Отойди! — грубо бросил я.

Она, видно, не поняла меня:

— Это Степа. Мы с ним дружим.

— Значит, с ним, — медленно проговорил я, сжимая ремень.

— Тебя не было, и мы стали дружить... Давайте вместе будем дружить!

Митька подтолкнул меня сзади: «Действуй!»

— Нет! — крикнул я. — Я ему сейчас покажу.

Степка был выше меня, но его, наверное, смущала моя форма. Видно было, что он боится меня. Я резко замахнулся.

— Вовка! — вскрикнула Юля и добавила негромко: — Уходи... Уходи отсюда!

Я опустил руку с ремнем и молча пошел в темноту. Во мне все горело, будто в меня насыпали раскаленных углей.

Плюс И Минус

Р а с с к а з

Ее зовут Настеха.

Судя по имени, можно подумать, что это такая, с добрый центнер, деваха, дебая, крупичатая, рассыпчатая...

А она — тоненькая, бледная девочка с огромными рассеянными глазами и двумя светлыми крылышками волос надо лбом. Настенка, Настюшка, Настенька...

«Настеха» — туристская кличка.

Туристы все окрестили диковинными словами. Некрасивыми, неизящными, как их любимая песня — «Серенький козлик» на мотив «Ля донна э мобиле».

А сама-то Настеха в восторге от туристского безобразия и принимает свою кличку, как орден.

Когда Витька заблудился в этом несчастном алтайском походе и потом через два дня каким-то чудом все же набрел на своих, Настеха прыгала вокруг него, голодного и хромого, и восхищенно причитала: «Ой, Витька, лопухастенький ты мой!» Лопух — в ее лексиконе слово похвальное. Вроде и ему она хотела навесить подобный же орден.

— Принеси-ка мне лучше воды умыться, — хмуро сказал Витька.

В походе сильно намучились с лошадьми. Тащили за собой по узкой тропе, переводили через реку и едва не несли на себе. Вероятно, их и взяли с чисто туристской целью — создать себе такие невероятные трудности, чтобы некогда было смотреть по сторонам.

Спать улеглись в час ночи, штабелем, впритирочку друг к другу. Поворачивались с боку на бок не иначе как по общей команде.

Витька лежал рядом с Настехой. Заставлял себя уснуть: представлял мысленно шефа на собрании. Но слишком устал, не спалось.

И вдруг Настеха повернулась против общего направления к нему и провела пальцами по его груди. Витька замер. А она пробормотала с

закрытыми глазами, самым нежным голосом, какой он когда-нибудь у нее слышал: «Тпруу! У тебя подпруга ослабла, надо подтянуть».

Это она со сна приняла его за лошадь.

В одном из сел он назначил ей свидание. Она пришла минута в минуту. Когда он подошел к реке, Настеха уже сидела на камне и бросала гальку в воду. Ей удалось наконец «испечь» подряд три «блина», она хлопала в ладоши и воскликнула:

— Эх, всегда бы так жить! Знаешь, у меня лозунг: «Все туристы в один город — гоп!»

Витька наморщился:

— Что такое? Не уловил.

— Ну — уси туристы в одне мисто — гоп! — если по-русски тебе непонятно.

По украински «мисто» не место, а город. И вся эта формулировочка, если Витька не ошибался, означала, что Настеха собирается посвятить свою жизнь основанию изумительного города, населенного сплошь туристами.

— Гениально! — засмеялся он и, забыв, зачем, собственно, позвал ее к речке, принялся забавляться. — Город Настехинск!

Тут все мамы турики, тут все папы турики, и бабки, и дедки, и сопливые детки.

Улица Больших палаток, переулок Спуск Дюльфером, площадь Ледоруба, Рюкзачная Дача, поселок Отставшего Туриста, тупик Серого Козлика.

Летом город опустел — все жители удрали в горы. Возвратились, а город уже заселен другими. Пришлось объявлять войну...

— Тоже мне деятель! — рассердилась на него Настеха и ушла в клуб на танцы.

Он сел на тот камень, на котором только что сидела она, и потер лоб. Да-а... Ведь только ради Настехи сделал он эту глупость — отправился в поход. Чтобы оказаться к ней поближе. В институте она продавала книги в лавочке, и там всегда теснилась куча народу. Он пробовал приглашать ее на концерты в филармонию, но из этого выходила сплошная чепуха. То она козу с дороги прогоняла, чтобы глупое животное не угодило под машину, то вдруг попадалась какая-то ревушая девчонка, которая потеряла ленту из косы, и приходилось битый час искать по улицам, пока наконец Настеха не вела девочку в магазин и не покупала ей метров десять разных лент... А тем временем становилось ясно, что на концерт идти уже незачем, но не поздно пойти в парк, чтобы еще разок потренироваться с ребятами по скалолазанию.

Сидя на камне, Витька вынул из кармана блокнот и, хотя было темновато, решил еще немного подумать над своей схемой, которая была его последней перед отпуском работой в институте и которую он по совести не мог признать вполне удавшейся.

Но работать не стал — вспомнилось, как Настеха реагировала на этот его «труд». Услыхав от него, что лабиринт на бумажке есть «схема ав-

томатизации процесса разливки стали», она сперва было Витьку зауважала. Но приглядевшись, спросила:

— А где ж тут сталь? Одни провода и лампочки.

Витька было пустился в школьные объяснения, что вот реле и что сталь будет разливаться без участия людей, с пульта управления. И что нужно создать наиболее выгодный вариант — ну, сэкономить побольше этих самых релюшек. А она возмутилась:

— Да ты ведь и не видел никогда, как ее разливают, сталь!

— В кино. Да, собственно, мог бы и того не видеть: даны же исходные данные.

— Данные! А красота здесь в чем? Неужели не видно, какого она цвета? И как пахнет? И риск? И жар? И как ее пробивают... ну, летку...

— Представь себе, что для моей работы это не важно, — извиняющимся тоном сказал Витька. — Есть ведь и другая красота. Например, красота инженерного решения, доказательства, формулы...

— Бред! — она засмеялась, отвернулась от схемы и больше уже на нее не глядела...

Витька вздохнул, сунул блокнот обратно в карман. На ощупь сорвал возле своего ботинка цветок. Кажется, ромашка. И совершенно уже подурячки стал обрывать лепестки: «любит — не любит». Вышло «не любит». Плюнул и отбросил стебелек. А на что тут было сердиться? Ромашка выдала полноценный бит информации...

Недели через две, когда уже пришли в Барнаул, Настеха стала ко всем приставать: «Пошли искупаемся». Ребята отговорились усталостью. «Витька, и ты устал?» Витька сказал, что да, он тоже устал. Ему было почему-то неудобно идти с ней одному.

Тогда она позвала хозяйскую дочь Катюшу, хорошенькое черноглазое существо, служившее официанткой в ресторане. Поехали они к реке, переправились на другой берег, накупались, поджарились, оделись и стали ожидать обратной переправы. А тут, как на грех, подошла частная моторка и в ней полным-полно пьяных в трусиках. Катюше захотелось непременно с ними покататься. Сколько Настеха ни отговаривала, даже в лодку за ней лезла, замочив все платье, — ни в какую! Мотор застучал, и лодка с пьяными и с развеселой Катюшкой отплыла. А деньги за перевоз и на автобус были все в Катюшкином кармане.

Не просить же денег у пляжников — такого Настехе ее гордость не позволяла. Переплыла кое-как на городской берег, просушила мокрое платье на кустиках и пешком через весь город добрела к своим, на какой-то там Прудской переулочек.

Пока добиралась, Катюшка уже успела накататься, а может, ее все же совесть загрызла, но она, так и не донасладившись прекрасной прогулкой, прибыла домой. Поднялась паника, собралась спасательная команда с Витькой во главе, и когда Настеха появилась в дверях, ее встретили веселым воплем, без всякого сочувствия к ее страданиям. А она вместо того, чтобы обидеться, тут же пристроилась к большинству и принялась веселей всех насмеяться над своим приключением.

Вечером Витька нашел ее в огороде. Она сидела посреди морковных грядок и утирала кулачком слезы. Он подумал, что это в связи с неудачным купанием, и хотел было уже посочувствовать, но она подняла глаза к небу и протяжно сказала:

— Эх, Витька! И почему у меня не выходит?

— То есть что, прости, не выходит?

— Да стихи же, как не понимаешь! Гляди! — Она обвела рукой круг. — До чего хорошо! Я все вижу, как никто и никогда не видел, а начну описывать — и получается «Выткался на озере алый свет зари» или «Как сладко дремлет сад темно-зеленый»... Неужели этот Есенин с Тютчевым все мои слова расхватили?

Витька не нашел ничего лучшего, как спросить:

— Ты любишь Есенина?

На что она громко завопила:

— Ничуть! У меня даже против него написано.

Вот:

Мой первый стих — удар по пессимизму,
Который прозвучал в твоих стихах,
Давно пора уж справиться по нем тризну —
Он в жизни нашей потерпел свой крах.

Еще минуту назад Витька готов был сказать ей что-то необыкновенное, какие-то тихие слова, которых он не говорил никому и никогда, но услышав ее «удар по пессимизму», он не мог не засмеяться — и, конечно же, Настя тотчас убежала в дом.

Это было последнее летнее впечатление. Начались дожди, и стало казаться, что лета и не было. Витька, как всегда, за час до начала работы спешил в институт, чтобы просмотреть новые журналы по специальности, на трех языках. И, как всегда, боялся шефа, который, вообще-то говоря, был добродушнейшей личностью и на кафедре о нем говорили кратко: «Шеф — золото»; он деликатно относился к хвастунам и забиякам, даже к лентяям, легко забывал чужие ошибки, но совершенно не выносил невежества.

Зато после работы Витька задерживался уже не каждый день, а когда не задерживался, то шел в Настину лавочку, покупал там «Юманите», или «Математическую логику», или двухтомник Хемингуэя и как бы мимоходом приглашал Настю к себе — послушать новые пластинки; у него была недурная фонотека, сплошь из серьезной музыки. Для Настехи музыка — темный лес, она даже как-то «выдала», что начало Пятой симфонии Бетховена — не что иное, как призыв идти в туристский поход. Тем не менее, слушать любила. И так часто сидела в уголке дивана, слушая эту самую серьезную музыку, что Витькина мама стала ему говорить, что ей хочется прежде помянуть Витькиного сына или дочь, а потом уж умереть. На что Витька смущенно отвечал, что мама ничего не смыслит в дружбе и товариществе.

Однажды Настеха объявила при ней, что едет в соседний город соблазнять тамошних туристов на тренировочный поход. Старушка

попросила привезти погостить ее уже реально существующего внука Вовку, сына Витькиной старшей сестры. Витька не успел вмешаться и объяснить, что из этого ничего хорошего не выйдет, как Настеха согласилась. И ничего хорошего, конечно, не вышло.

Они явились поздно ночью в довольно странном виде. Настеха в юбке и в прозрачной комбинашке, а Вовка — до пят закутанный в ее знаменитый походный черный свитер. Он с ходу похвастал, вставляя куда надо и куда не надо недавно усвоенное «р»:

— А на нас фашисты напарри! А мы их не забоярриси!

Настеха же, увидав себя в зеркале, закрыла лицо руками и расплакалась, приговаривая:

— Не обращай внимания, это из меня холод выходит.

Витька принес материн купальный халат. Мать, слава богу, мирно спала в соседней комнате и ничего не слышала.

Мало-помалу все прояснилось.

Поезд пришел в три часа. Автобусы не ходили. Но вместо того, чтобы переждать до утра на вокзале, Настеха предложила малышу добираться пешком. Конечно, с воспитательной целью. Чтобы развивать в нем храбрость.

Прошли они квартала четыре, а из-за угла — жулики. Витька, впрочем, уверял, что это были не настоящие жулики, а так, начинающие, — настоящие не стали бы охотиться так поздно. Витька почему-то считал себя знатоком уголовных нравов. Но как бы то ни было, они появились. Трое. Все в пальто с поднятыми воротниками. Шапки на глаза. Один заломил Настехе руки, другой быстро расстегнул пуговицы пальто и спустил его на руки первому, в то время как третий наставлял на Настю какую-то рогулину, которая в темноте вполне походила на револьвер, и шипел сквозь воротник:

— Снимай пальто!

— Уже и так сняли! — отвечала эта деятельница. — Не шипи!

Но когда этот третий стал стаскивать с перепуганного Вовки мохнатую нейлоновую шубу, Настеха не выдержала и, забыв, наверное, с кем имеет дело, начала жестоко браниться:

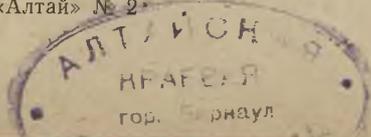
— Сволочи! Дрянью! Если бы я вдруг ополоумела и стала бы бандиткой, и то у меня не хватило бы совести раздевать детей в десятиградусный мороз! Вот был бы у меня настоящий наган, не такая палка, как у вас, я бы вас всех перестреляла без всякой жалости!

Жулики, может, и вправду были еще совсем молодые специалисты в своем деле, потому что растерялись и не нашли что ответить. А, может, у них просто не хватило чувства юмора.

Настеха, почувствовав себя свободной, у них на глазах сняла с себя свитер, надела на Вовку, взяла его на руки и пошла. А жулики побежали со страшной силой за угол.

Но это было еще не все! Настеха вдруг вспомнила, что в кармане пальто лежит ее паспорт. И как закричит:

— Эй, товарищи! Тьфу, какие вы товарищи — граждане жулики!



642592

Выбросьте из моего кармана документ, а то меня еще из-за вас оштрафуют!

Но они почему-то не остановились, а припустили еще быстрее.

Вот теперь уже все. Хоть плачь, хоть смейся!

— Настя! — взволновался Витька. — Как же ты...

— Думаешь, надо было им дать отпор? — виновато спросила она. — Их же все-таки трое... И потом, если бы не Вовка...

— Ну что ты — отпор! Ты так говоришь, будто совсем не понимаешь, чем могло кончиться!

— Нет, я уже начинаю бояться... Понимаешь, я всегда боюсь как-то с опозданием... Когда все уже пройдет, через несколько часов. Ой, я уже, кажется, боюсь. Витька, отвернись, ладно? Я еще немного поплачу...

После этого случая он ее видел только раз. Она пришла к нему домой и принесла новую шубу для Вовки.

— Что вы! — возмутилась Витькина мать. — Вас саму ограбили, а вы...

— У меня все равно ведь нет детей, куда я теперь ее дену?

— Ну разве что так, — засмеялась мать — и взяла. И ушла сразу же к себе.

Витька пытался было оправдаться, почему не приходил в лавочку: много работы, да и лавочка, вроде, стала закрываться раньше. Но Настя перебила его:

— Да ты что? Я же не торгую.

— Как? Почему?

— Собирайся — едем! — сказала она.

— Куда?

— Тут получилась одна такая экспедиция в тайгу, по борьбе с энцефалитом. Нас возьмут.

— Нас?

— Тебя и меня. Там и поженимся, — бухнула она, как будто это давно решенное дело.

Витька проглотил комок в горле и выдавил:

— Может, обойдемся без тайги?

— Ну да! А что тебя держит? Твои релюшки, что ли?

И, не ожидая ответа, принялась расписывать все благородство этой экспедиции и выкладывать свои глубокие познания об энцефалите, которые приобрела, вероятно, сегодня — уж очень они были свеженькие. Витька почувствовал себя оплетенным.

Очень мило, Настенька, с твоей стороны...

Значит, не поедешь? Релюшки держат?

— Вероятно, релюшки.

— А, может, ты просто трус, а?

Витька развел руками.

— Нет, я же тебя знаю, ты не трус. Неужели релюшки? Чудно!

— Поговори лучше о себе, — попросил он.

Что-то ломалось. Что-то уходило далеко. Что-то делалось с ним

вопреки всякой логике. А она как ни в чем ни бывало (только шмыгнула носом разок) продолжала излагать свои безумные планы: экспедиция поедет прямо на восток, а она по дороге (по дороге!) на минуточку заскочит в Новосибирск — там живет Анечка Носова. Что, Витька не помнит Анечку Носову?! Но она же была в алтайском походе! Красавица! Замечательный человек! (Витька и правда припомнил что-то бесцветное). Так вот, Анечка прислала недавно ужасно пессимистическое письмо, просто страшно пессимистическое, необходимо сейчас же вернуть ей радость жизни.

— Ну, а я?

— Значит — едешь?

— Значит — нет.

— Витька, ты плохой человек! — объявила она. — И я снимаю с себя всякую ответственность.

А лицо ее, между тем, было совсем близко от его лица. Такое милое. Светлые растрепанные волосы сияли на свету. Два передних зуба были чуть длиннее других, но, хотя она и немножко походила из-за них на тушканчика, вовсе не портили ее. Глаза, по-детски круглые, глядели сквозь Витьку в тайгу. Этого нельзя было вынести.

Он притянул ее к себе и поцеловал — цыкики сказали бы, что с этого надо было и начинать. Он поцеловал ее еще раз, еще. Она сперва смеялась и вертела головой, но потом притихла и спрятала лицо в вырез его рубашки. Она, конечно, ошибалась, когда думала, что он не любит своего дела. Но она была права — ему сильно не хватало цвета, запаха, вкуса. Именно этого ему не хватало — раньше. Теперь он держит все это в руках — и удержит. У него крепкие руки, никуда она не уедет! Пусть попробует вырваться!

Витька легко оторвал ее от пола и понес в свою комнату, куда никто никогда не заходил, даже мама.

На работу он пошел радужный. Чувствовал себя в ударе. Когда с завода пришли принимать заказ, автомат для намагничивания и сортировки их продукции, он с ходу вдруг придумал еще одно усовершенствование, что, казалось бы, уж вовсе невозможно. На перерыве он был так занят, что не спустился в лавочку, и только потом в утешение себе вспомнил: Настя ведь там уже не работает. Место, впрочем, еще не занято и ее охотно примут опять. Но всего бы лучше, чтобы она подготовилась и поступила в институт учиться.

Он был уверен, что, придя с работы, застанет ее у себя. Ничего подобного! Телефон тоже молчал. Витька хотел сам позвонить, но куда? Настя жила на квартире, а у хозяев телефона не было. Он посидел некоторое время, часа два, за столом. Потом терпение лопнуло, отправился к ней. Хозяева сказали, не снимая цепочку с двери, что квартирантка утром уехала, и долго смотрели в щель, как он спускался по лестнице.

Даже написать некуда: у Насти теперь нет адреса. Если вдуматься — странная вещь!

И вот письмо. От нее. От Насти.

«Здравствуй, Витька! Догнала наконец экспедицию. Благополуч-

но. Мы уже на месте. О делах напишу потом подробно. Пока меня кусают комары.

В Новосибирске пробыла два дня, Анечке уже стыдно за пессимистическое письмо. Она ничего не выкинет. У нее чудный сынишка Глеб. Когда будет то, ну, ты помнишь — все туристы в один город гоп — мы всех туристских детей назовем Глебками. Хорошо?

Анечка — сильная женщина, я ее уважаю. Выпала в шею своего Петра, так ему, гаду, и надо. В двадцатом веке женщины вообще стали сильнее мужчин. Если бы они вашего брата не жалели и не брали бы на себя всякую чепуху вроде стирки, уборки и т. д., то уже давно бы все государственные деятели были бы женщины, и все писатели, и ученые. Только зло берет: почему Анечку никто не любил по-настоящему? Кто же тогда достоин, если не она? Последним куском поделится, последнее платье отдаст товарищу. Слепые вы кроны! Чего вам надо? Она — человек, не то, что тут у нас есть один Рыжиков — шел дождь, а он не разрешил товарищам сесть на его мешок — таких убивать надо!

Я хотела и Анечку утешить с собой, но как же с Глебкой?

Но у меня есть план один. Он и тебя касается. Знаешь, когда у тебя будет отпуск, поезжай в Новосибирск. Ты обязательно влюбишься (т. е. не в Н., а в Анечку). Мне, конечно жалко, но я как-нибудь перебуюсь, мне в любви вообще везет, ты не смейся. Но ведь это тоже большое дело: хоть одного человека сделать счастливым на всю жизнь. А я к вам в гости буду приезжать из походов, и нам всем четверым будет хорошо. Я обязательно каждый год буду к вам приезжать. Правда, честно говорю, я немного буду грустить, «что наша любовь не вышла, что этот малыш не мой», но когда хорошая грусть, это только обогащает человека, ведь правда? (Смотри-ка, опять замечаю, что и Кедрин слегка пользовался моими мыслями).

Ой, поймала на руке клеща! Не бойся, он не энцефалитный, я точно знаю.

Целую. Настеха».

Витька читал лекцию вместо шефа. Говорил, чертил на доске — и студенты почтительно конспектировали, и никто из них не догадывался, какой он страшный кретин.

Безнадёжно счастливый кретин!

То и дело он трогал в кармане смятое письмо, с милыми Настехиными шуточками, и ему было весело оттого, что она ни чуточку не изменилась. Хотя люди даже слова песни «Но ты и дорог мне такой» изменили по законам логики в рассудительно-унылое: «Но ты мне дорог и такой».

А самое главное, что у нее все-таки есть адрес.

Пусть сколько угодно сердится, но он женится не на этой Анечке, а именно на ней, на ней.

В двадцатом веке, если у человека есть адрес, считай, что он от тебя не уйдет!

КАЛКИ- МОРГАЛИКИ

Р а с с к а з

Розовые прослойки вытянутых над горизонтом облаков придавали зареву сходство с ветчиной. Желонкин долго смотрел на закат и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Ветер будет.

Володя Гусятин, парень с землистым лицом и фиолетовыми губами, поднял глаза от раскрытой книги и, близоруко сощурившись, недоверчиво спросил:

— Откуда знаешь?

— Оттуда и знаю, — зевнул Желонкин. — Заря-ветрянка. Вишь, кровью занялась... Главный предмет.

— Это что такое — предмет? — тонко улыбнувшись, переспросил Володя.

— Бестолочь ты, — укоризненно покачал кудлатой головой Желонкин. — Мужики глядят, чего бог дает: когда снег падет, когда дождик случится... Примечают мужики, понял?

— Чего-то ты, дед, не туда гребешь, — слабо засмеялся Володя. — Если уж на то пошло, нужно говорить — предмет. А то, что ты называешь предметом — это примета, плод наблюдений, другими словами...

— Сам ты предмет. Плод несмышленный, — равнодушно упрямылся Желонкин. — Другими словами — бестолочь. Ты слушай, чего говорят. Сказано: ветер будет — значит, будет.

Разговор иссяк. Света в палате не зажигали, ожидая вечернего обхода.

Игнат Желонкин, жилистый старик с насквозь прокуренными усами, сидел на койке и прислушивался, что делается у него в животе. Желонкин едва не отравился спиртом с каким-то мудреным, совсем не магазинным названием, и теперь в животе у него происходило черт знает что. Недаром врач, как только Желонкин после долгого забытья пришел в себя, восхищенно воскликнул: «Экая силища! Второй раз человек родился!» А потом, склонившись над Желонкиным, тихонько спросил: «По секрету — сколько этой отравы выпил? Сто граммов? Двести?» — «Полкила», — смутно ответил Желонкин и опять лишился сознания.

Игнат в больнице десятые сутки. На поправку дело идет туговато. В животе все еще жжет и бурчит, и в нужник надоело бегать Желонкину, придерживая у пояса больничные подштанники, на слона шитые. Но все же самый главный страх остался позади, выкарабкался Желонкин, живым остался.

Радоваться бы ему, а радости нет. Сидит Желонкин на певучей койке и горько думает о том, что стареть он стал. Это же надо, спиртом отравиться! Узнали бы дружки-старатели, засмеяли бы артельного.

Полжизни пробегал Игнат за металлом, ел все, что придется, вплоть до пихтового подкорья. Вместо спирта глотал иногда похожую на мыло денатуратную пасту из консервных банок с нарисованным черепом. Эти банки старателям давали в «Золотопродснабе», чтобы в любую непогодь костер быстро разжечь. Но огонь добывать Желонкин умел без денатуратной пасты, а пасту умел превращать в жидкость, и пить ее умел. А теперь — на тебе, от спирта заболел! Не верил Желонкин, что спирт этот — отравка. Главную беду видел в возрасте своем. Стареть стал, вот поэтому и лежит в больнице с какими-то чудиками малохольными, с доходягами.

Не любил Желонкин слабых людей, не признавал от них никакой пользы, не верил им и не жалел. О человеке привык он думать применительно к тайге. На руки смотрел, словно примеряя: по силам ли кайло? По ногам оценивал, как оценивают лошадь: далеко пойдет, не свалится в первом же распадке?

Эх, жизнь! Был Игнат Желонкин знаменитым старателем, текло золотишко сквозь пальцы! А нынче — резь в животе да невеселые думы.

Сосед Желонкина — щупленький мужичишка лет сорока, с именем ровсе даже и не русским. Звали его Аттилой, по фамилии Шихаев.

Кроткого нрава человек, вроде как бы молебный, хотя в бога не верит, о чем сам всегда говорит. Кротость Шихаева шла, видать, от дуга. Ни одна приезжая медицинская знаменитость не уезжала из го-

рода, чтобы ей не показали Шихаева. К своей недоброй славе Аттила относился с потаенной гордостью:

— Нас таких по всей области раз-два и обчелся... Изучают нас. Лекарства новые дают — проверяют.

От общения с профессорами Шихаев стал великим знатоком своей болезни. Доктора разговаривали с ним уважительно, словно удивлялись, что вопреки всем научным законам Аттила отходить не собирается и даже духом не падает.

Сейчас Шихаев лежит на спине и, согнув ноги в коленях, сосредоточенно мнет живот. После продолжительного исследования он довольно сказал:

— Опять селезенка сокращается. И живот помягче стал. Кажись, снова отсрочку получил. Слышь, Игнат, поживем еще, говорю...

— Ну ее к драной матери, такую жизнь! — огрызнулся Желонкин.

— Это ты зря, — Шихаев даже привстал. — Это ты очень зря. Зимой, конечно, скучно... А летом ничего. Окно, бывало, откроешь — и весь город к тебе в гости. Лежишь и слушаешь, и по звукам догадываешься, где и что делается. А то — музыка из сада прилетит. Хорошо!

— На своих похоронах музыки все одно не услышишь, — тускло сказал Желонкин.

— Зачем ты так, Игнат? — удивился Шихаев. — Сам знаю, что помру. Не надо. Не одни мы тут, — и он кивнул в сторону Володи Гусятинина.

Володя давно уже не читал. Сунув книгу под подушку, он улегся лицом к стене. В предвечерние часы на Володю накатывалась глухая тоска. Ему не хотелось ни с кем говорить, ни о чем думать. Хотелось просто лежать, забыть, что прожил он на свете всего двадцать лет, и три года из них — в больнице.

4

В дальнем углу палаты, скрытом тяжелыми сумерками, закрипела кровать. Проснулся Парамон Белянин, по больничному прозвищу — Кума. Смачно зевнув, вступил в разговор:

— А ему что? Кабы он с понятием был... Ты скажи, что приснилось! Будто нога у меня выросла. И тоже левая. И пенсию мне отказали. Я говорю, как же я с двумя левыми? Ничего, говорят, походишь пока... Скажи, как бывает... А Игнату что — понос кончится и на волю...

— Во мельница! — возмутился Желонкин. — Мелит, мелит, а какая мука — не поймешь. Ты, случаем, под Сталинградом не был? Можж, контуженый?

— Я был! Я был! — забрызгал слюной Парамон. — Вот ты где был? Вот скажи: где ты был?

— В тайге был, где же мне еще? — спокойно ответил Желонкин. — Золотишко мыл...

— Ви-идали! — воинственно загремел костылями Парамон. — Я,

можно сказать, раненый был, напрочь ноги лишился, а он карманы набивал!

— Дура-ак! — в сердцах сплюнул Желонкин. — На мое золотишко у американцев самолеты покупали. Можя, за второй фронт моим металлом расплачивались...

— За второй фронт мы, Игнат, кровью расплачивались, — вмешался Шихаев. — И не надо шуметь, ну, что вы, в самом деле...

— Кабы с понятием он был, — почувствовав поддержку, с расстановкой произнес Беянин. — А то заладил — Сталинград, Сталинград. Будто в одном Сталинграде службу несли. Я в конвойных войсках и то ногу потерял по службе...

— Вона-а, какой ты вояка! — ощерился Желонкин. — Сразу бы и говорил чего к чему...

Парамон посмотрел на Желонкина диковато, соображая, какую допустил оплошность, догадавшись, грязно выругался и погрозил:

— Попался бы ты, когда я в конвое был... Я вас, таких варнаков, по часу на снегу в лежку держал!

— Эх, полудурок, — крякнул Желонкин. — Попал бы ты ко мне в артель старательскую, рассудок бы вправил...

— Да перестаньте вы, ради бога, — жалостливо попросил Шихаев, подняв над головой руки.

— Пускай, пускай говорят Аттила Сергеевич, — подал вдруг голос Володя Гусятин. — Интересно же...

— Чего там интересно! Убивать таких надо, не снимая показаний, — ворчал Парамон, поднимаясь на костыли.

— Аника-воин, стрелок лагерный, — бубнил ему во след Желонкин.

— Господи, вот народ! — страдальчески морщился Шихаев.

И только Володя, забыв о меланхолии, улыбался себе в сумерках.

5

Парамона Беянина в больнице знали хорошо. Летом он нанимался сторожить сады и огороды, беспробудно пил, время от времени стреляя через дырявую крышу шалаша, а на зиму ложился в больницу успокаивать воспалительный процесс на культе отрезанной ноги.

Ному Парамон потерял по пьяному делу, отморожил ее, свалившись в сенях у огромной и молчаливой бабы-самогонщицы, которая жила неподалеку от места службы Беянина. В тот раз Парамон принес ей шматок сала и целую буханку хлеба. И она не жалела самогона, угощала гостя, мрачно пила сама. А когда Парамон, напившись, схватил ее и обнюхивал пахнущий луком рот, баба отряхнула Парамона, поднявшись во весь рост, молча ухватила его железными пальцами за шею, нагнула и в таком неудобном состоянии подвела к двери. Вслед за Парамоном в сени вылетела шинель и шапка.

Беянин долго скребся в дверь и гнусавил:

— Дуся, пусти... Согрею, Дуся...

А потом затих, колени подогнулись. Парамон сполз на пол в углу и заснул...

Ногу Парамону резали два раза, окрепшего выписали из госпиталя и демобилизовали. В первый же день штатской жизни Беянин погостылял к самогонщице. Дуся встретила Парамона испуганно, помогла раздеться, усадила в красный угол и засуетилась, заметалась от печки в подпол, из подпола в сарай, где у нее за поленницей хранилась самогонка.

И опять Парамон напился и назидательно говорил бабе:

— Стерва ты, Дуся. Захочу — прихлопну твою малину... Что ты из меня сделала? Ты из меня инвалида войны сделала! Я как служил? Я хорошо служил! Я этих варнаков, знаешь как? — Парамон яростно потер ладонь о ладонь, словно бы колос ладонями шелушил, затем дунул на ладонь и показал Дусе: пусто. — Шаг налево, шаг направо — побег!

Дуся смотрела на Беянина глазами, полными слез. Она долго крепилась, но не вытерпела, заголосила:

— И что же я наделала! И загубила-то я свою жизнь горемычную! И прости ты меня, Парамонушка, прости меня, дуру набитую! Да я тебе готова ноженьки мыть и воду смытую пить!

— Дура и есть дура! — озверел Парамон. — Какие ноженьки, когда ты из меня инвалида сделала? Одну ногу будешь мыть, стерва! Одну, одну!

Парамон ударил кулаком по столу, так что упал стакан с недопитым самогоном, всхлипнул и опустил щекой в вонючую лужицу сивухи. Дуся нежно перенесла Парамона на высокую кровать, осторожно разделала его, разделась сама, и, вздыхая, легла рядом с ним, огромная, покорная, виноватая.

С Дусей Беянин прожил недолго. Надоело пугать глупую бабу, предложил откупиться. Дуся принесла в узелке красных тридцатирублевых, нацедила Парамону в американскую канистру первача и отпустила с богом.

6

И какую власть приобрел с тех пор этот растрепанный, расхлестанный, плосколицый и одноногий человек над женщинами, объяснить никто не мог. Немолодые уже, не бог весть как одетые, женщины шли к нему в больницу, как на праздник. И протягивая в окошечко для передач какие-то сверточки, баночки, кастрюльки, они стыдились своих темных узловатых пальцев и преданно заглядывали Парамону в глаза, боясь не угодить. А он, оттопырив толстую губу, снисходительно говорил:

— Это все чешуя! Ты, кума, чекушку сообрази...

Водку Парамон пил на ночь, после обхода, под одеялом. Выпив, долго жевал лавровый лист, чтобы не пахло.

Про женщин Белянин разговаривать любил, но говорил не грязно, скорее — безразлично, называя каждую кумой.

— В саду жить пользительно. Яблоня, к примеру, цвет наберет — дышишь, аж в грудях места мало. Придет кума, пузырек принесет... Ей, бабе, и меня одного хватает, а тут еще — дополнительная радость. Одну сопроводишь, другая крадется. Смехота! Для острастки порохом в луну пальнешь и снова за пузырек...

— Приходит кума, женись, говорит, на мне. Уморал! Какой же, спрашиваю, я женатик, когда последний протез прошит? Прокормлю, говорит. Не-ет, говорю, корми, коли хочешь, так, на свободе...

Белянина обитатели палаты слушали, удивляясь дремучести его, а Володя еще и завидуя первобытной жизнестойкости Парамона.

Целебную силу микстур, порошков и таблеток Парамон не признавал.

— Это все чешуя! Калики-моргалики, — говорил Парамон про медуцименты. — От них прыщи по телу...

Признавал Белянин только внутрисенные вливания глюкозы. Переносил их легко, беспокоился, если в назначенный час его не звали в процедурный кабинет. А когда возвращался с укола, удовлетворенно говорил:

— Серьезно лечат. Подкормка организме...

Иногда в палату к Белянину приходил еще один инвалид, интеллигентного вида человек, с изящными костылями. Присаживаясь на краешек койки, он называл Белянина по имени и отчеству и продолжал давным-давно начатый разговор.

— Как же, Парамон Семеныч, с нашим делом? Я вас очень прошу! Ну, что вам стоит? Цену сами назначьте, сколько скажете — заплачу.

Парамон важно поглаживал выпяченный живот и отвечал с деланной рассеянностью:

— Уж я не знаю, как быть... Материала нет подходящего. Да и зачем тебе моя работа? Сейчас ведь все на химии, бери казенный...

— Наслышан, Парамон Семеныч, о вас, очень наслышан, — не отстаивал интеллигентный инвалид. — Говорят на вашем ходить — родной ноги не надо!

Однажды, когда Парамона не было в палате, интеллигентный пояснил:

— Великий мастер, этот Белянин! Делает такие протезы, что мечтают о них люди. Легкие, удобные, прочные... Мне показывали, не поверил, что кустарным способом изготовлен... Вот прошу его, давно прошу. Ни как не хочет. Губит человек свой талант, губит.

В палате таланту Парамона и верили и не верили. Желонкин не утерпел, спросил:

— Как же ты, ежели такие протезы делать можешь, сам постоянно с ногой маешься?

Парамон долго соображал, что ответить, ответил со значением:

— Процесс! Понимать надо, что такое процесс!

Желонкин включил свет. Стены палаты мягко засеребрились. Шихаев долго лежал зажмурившись, потом приоткрыл глаза, спросил:

— Манька жива?

Желонкин внимательно осмотрел потолок, перевел взгляд на стену, повернулся к другой.

— Вот она, стерва, — сказал из своего угла Парамон. — Жрать поди захотелось, по блинам ползает. Кыш-ш...

Манькой звали муху, которая, несмотря на больничные строгости, ухитрилась сохраниться. Отношение к Маньке было не одинаковым. Шихаев заботился о ней, подкармливал, оставляя на тумбочке крошки.

— Это ничего, что муха, — рассуждал он. — Тоже живое. Когда их много — плохо. А одна пусть.

Желонкин к Маньке относился равнодушно. Володя посмеивался над мушиной дружбой Шихаева. Парамон Белянкин прочил недоброе:

— Так не бывает, чтобы мухи зимой водились. Пропадет. Мухе тепло надобно, навоз... А здесь клистиры да калики-моргалики. Нажрется аспирину — сдохнет. Я его и то не ем.

Парамон зашуршал бумагой. Толстые блины, пропитанные маслом, положил на тарелку, достал из тумбочки селедку, сметану в низенькой баночке, кулек с сахарным песком и кусок колбасы. Сахар высыпал в сметану, долго и нудно брнчал ложечкой, размешивая. Потом ел. Блины, селедку, колбасу. Запивал сладкой сметаной.

Услышав, что Парамон ужинает, Володя приподнялся на локтях. Когда Парамон ел, Володя смотрел на него с болезненным любопытством. Смотрел и завидовал. Если бы Володя мог так есть, наверное, он давно бы выздоровел. Свои передачи, оставляя себе компот, кисель и вообще что-нибудь кисленькое, Володя отдавал Парамону.

— Куды же мне такую прорву? — говорил вместо благодарности Белянкин. — Кума притащила жратвы — не провернешь. А тут еще ты...

Но он брал все, что ему давали. И все съедал.

— А вот, скажите, что это я такое видал в прошлом годе? А? Лежу я возле балагана, ночь духовитая. Лежу, а оно вдруг светится и надо мной летит! Я было подняться — не могу! А оно так и пролетело. Чего бы это, а? — Парамон ошалело смотрел на Желонкина.

— Рассказал! — с издевкой хмыкнул Игнат. — Как нарисовал. Ну, Кума-а...

— Да нет, нет! — забеспокоился Парамон. — Я его вот как тебя... Оно летит, а за ним еще двое, будто детеныши. И главное, молча, ни стуку, ни треску. Светится — и крышка! Я все собирался спросить, потом забыл. Только-только вспомнил.

— А как оно выглядело? — спросил Володя.

— Не знаю, пра... Светится и все. — Парамон перешел на шепот.
— Вот артист! — возмутился Желонкин. — Много дураков видал, но такого не сподобилось... Корова это летела, понял? С двумя телатами!
— Наверное, спутник искусственный, — предположил Володя.
Парамон, не обращая внимания на выпад Желонкина, удивился:
— Спу-утник? Над садами? Не-е...
— И шума не слышно? — спросил Шихаев.
— Чего и говорю! — встрепенулся Парамон. — Совсем молча летело.

Оно впереди, а за ним как бы детеныши.
— Слушайте вы его, сейчас начнет ботать, — сердито бросил Желонкин. — Ботало!.. Натрескается блинов и переваривает мозгами...

Володя Гусятин засмеялся, достал из-под подушки блокнотик. Он вел дневник, записывал скудные больничные события, а с особым удовольствием — разговоры обитателей палаты. Володя мечтал стать филологом, если, конечно, поправится. Филологические заметки выглядели так:

«Желонкин назвал Куму самородком. Конечно, в ироническом смысле. Но Парамон обиделся не на иронию. Он сказал: «Может, ты и самородок, а у меня папашка с маманей был!»

«Кума посмотрелся в зеркальце и сказал: «Сегодня я хорошо выглядываю».

«Блеск! Парамон, ругаясь с Желонкиным, воскликнул: «Меня любая кума встретит с протертыми объятиями!»

«Парамон иногда так коверкает слова, что они приобретают новый смысл. Он рассказывал, как делал по частным заказам протезы: «Бывало, такую куркуляцию составляю, что один протез на большие деньги вытягивал!»

«Пишу. Зачем? Надежды юношу питают...»

9

В палату вошла Галочка, молоденькая, рыженькая медсестра. Значит, скоро обход.

— Гусятин, опять полотенце на спинке кровати висит! — Галочка говорила строго, как и полагается на службе.

— Триста тридцать третье серьезное предупреждение, — Володя оторвался от блокнота.

— Полотенце не портянки, может и на койке повисеть, — буркнул Желонкин.

Парамон быстро-быстро зашуршал бумагой, пряча в тумбочку недоеденные блины.

— Галина Андреевна, укол пора делать! — воскликнул он. — Чегой-то не делали глюкозу нынче!

— Делают все, что положено. Лечение назначает врач. — Галочка поправила занавески на окнах и вышла.

— Манька жива? — спросил Шихаев.

Несколько минут искали муху. Нашел ее Володя, спугнул из-за тумбочки. Муха вяло полетела к Шихаеву. Шихаев улыбнулся:

— Знает хозяина...

— Не может она знать, — убежденно сказал Парамон. — Это не собака. Собака хозяина знает, а муха на пададь летит...

— Ох, зануда, ну и зануда, — покачал головой Желонкин. — Стрелился бы ты мне в тайге...

— На себя смотри! В тайге-е... Я-то и гонял вас таких по тайге. Это уж я потом раненый был...

Свара не успела разогреться. Распахнулась дверь, и на пороге показался со своей свитой доктор Смоляренко, длиннющий человек, не умеющий находиться в состоянии хотя бы относительного покоя ни минуты. Манера обращения с больными у Смоляренко была своя, особенная, выработанная долгой практикой.

10

— Ну, рецидивисты, что повесили носы? — забасил Смоляренко, подходя к Желонкину. — Ага, уже прочно сидишь! Так, так... Интересно, серной кислоты хватил бы, выдюжил?

— Кто ж его знает? — хмуро ответил Желонкин.

— Нет, вы посмотрите на этого экземпляра! — восхищенно захохотал Смоляренко. — Про таких на войне анекдот ходил... Дыши глубже... Выпил, значит, солдат вместо водки серной кислоты, а утром мочиться стал, брызнул на сапог и конец сапогу — разъело. Так, так... Подожди, не дыши... Ну, за сапог старшина забучку дал...

Мелко хихикнула сестра-хозяйка. На нее строго посмотрела врач Нина Васильевна, и сестра, потупившись, спряталась за спину отчаянно покрасневшей Галочки. Нина Васильевна многое прощала доктору Смоляренко, но анекдоты в палате... Нет, надо будет поговорить в горздраве...

А Смоляренко, осмотрев Желонкина, сказал:

— Все хорошо, отлично! Через неделю выгоню. Ты понимаешь, что ты тип, достойный описания! Ты явление, причем из ряда вон выходящее!

— Вы это бросьте, — сумрачно пробубнил Желонкин. — Лечить вам нужно — лечите. А обзывать...

Но Смоляренко уже, не слушая Игната, грохотал у койки Шихаева:

— Держимся? Молодцом! Нем и мрачен, как могила, едет гуннов царь Аттила!

— Зачем же мрачен? — смиренно улыбался Шихаев. — Селезенка-то подалась, сокращается. Отступают белые шарики... Вы, Степан Иванович, таблеток мне еще дали бы. Помогают они. Я их проглочу, молочком протолкну, не дам прежде времени из организма выйти...

— Э-э, да вы тут все типы, как я посмотрю! — Смоляренко с приторным негодованием затряс седой головой. — Может, тебя вообще выписать? Зачем лежать, когда сам все знаешь? Хм, сокращается у него селезенка...

29

— Вы и сами так же определите, — сказал Шихаев. — Еще бы таких таблеток, а?

Смоляренко стал серьезным:

— Ты, дорогой, принял дозу, которой хватило бы отправить на тот свет целый взвод. Препарат новый, мы еще не знаем всех его свойств. Прислали его в порядке эксперимента, для тебя специально прислали. Так что не торопись...

— Ну, ладно, коли так, — легко согласился Шихаев. — А вот баньку бы не мешало. Просился — не разрешают...

Брови Смоляренко вопросительно поднялись. Сестра-хозяйка сделала шаг вперед, угодливо пояснила:

— Больной принимал ванну по графику. В соответствии...

Смоляренко нахмурился:

— Будет банька, Аттила. Обязательно будет.

11

С Володей Гусятиным доктор разговаривал ласково, а если подтрунивал, то почти шепотом:

— Чего ж ты, молодой человек, скуксился? Ты, сынок, у Шихаева учишься. Ишь, почернел опять... Ну-ка, ну-ка... Отеков не наблюдается. Та-ак... Сердце стучит немного получше. Нельзя, брат, духом падать. Вперед жизнь большая, это я тебе точно говорю. Еще немного и на операцию поедешь... В газетах-то читаешь про такие операции?

— Читаю, — ответил Володя, прикрыв глаза. Он не верил доктору.

— Вот и хорошо, — сказал Смоляренко. Он знал, что Володя не верит ему.

Парамон Белянин встречал доктора сидя, сняв пижаму и нательную рубаху. Его плечи и спина, обсыпанные крупными рыжими веснушками, лоснились, словно смазанные жиром. Культю отрезанной выше колена ноги он выставил вперед. Культя была багровой, воспаленной. Смоляренко помял жесткими пальцами культю. Парамон болезненно поморщился. Смоляренко спросил через плечо:

— Температура?

— Нормальная, — сказала сестра.

— Странно... Что же ты так, Белянин?

— Так ведь, процесс, Степан Иванович... То будто хорошо, потом, плохо. Так и жжет, так и жжет. А может, рак у меня под кожей? Тогда зачем укол отменили? Три укола делали, сейчас — отменили! Как же? Я раненый был!

Белянин сыпал скороговоркой и, распаляясь, говорил все громче. А Смоляренко задумчиво смотрел на Парамона, скручивая в жгут трубки фонендоскопа. Потом сказал:

— Непонятный у тебя процесс, Белянин. Нет у меня точной картины... Но будет, понял? Все!

— А укол? Прибавьте, Степан Иванович, глюкозы! Мне эти калики-моргалки даром не нужны! У меня изжога от таблеток...

Смоляренко вышел из палаты. В коридоре резко обернулся к сестре-хозяйке:

— Вы помните, что я говорил всем о Шихаеве? Помните? Летальный исход может наступить в любую минуту! Без графика! И мы бессильны. Мы даже не знаем, почему он до сих пор жив, настолько необычен ход болезни. А вы — график! — И сбавив тон, Смоляренко почти просительно закончил: — Будьте добры делать для Шихаева все возможное. Это нетрудно, он не капризен...

12

Смоляренко не успел закончить обход, как из кабинета выбежала медсестра:

— Степан Иванович, скорее! К телефону требуют!

Смоляренко ринулся в кабинет.

— Да. Кто?.. Во время заседания? Давайте сюда!.. Уже? Хорошо, примем!

Смоляренко положил трубку:

— Нина Васильевна, готовьте кислород! Везут Варанова. Приступ на бюро. Распорядитесь!

Нина Васильевна, рано располневшая, яркая блондинка, подверженная паническим эмоциям, закудаhtала:

— Боже мой! А куда? Все забито!

— Перестаньте, Нина Васильевна, — поморщился Смоляренко. — Примем в четвертую.

— Что вы, Степан Иванович! — всплеснула руками Нина Васильевна. — Товарищ Варанов...

— А я говорю, не имеет значения! — повысил голос Смоляренко. — Палата чистая, светлая. Стеклянных колпаков у нас нет.

Когда в палату вбежала сестра-хозяйка и, не доверяя нянечке, сама перезаправила койку, Парамон не утерпел, прокомментировал:

— Не иначе, большого начальника подсаляют к нам. Постель нетронутую меняют.

Шихаев беспокойно спросил:

— Манька жива?

Маньку найти не успели. В палату внесли товарища Варанова. Ввиду чрезвычайной срочности, его внесли не раздевая. Пиджак с него сняли где-то по дороге, разули и распустили узел блестящего галстука. Так в галстуке и положили товарища Варанова на койку. И лежал он грузный, и посиневшие веки придавали ему глаза.

Суеты не было. Товарища Варанова осторожно раздели. В палату впредсоедалась тишина. Только бас доктора Смоляренко, сниженный до невнятного гудения, нарушал ее. Над Варановым склонилась сестра со шприцем. Белой тенью мелькнул халат санитарки, бросившейся за новой подушкой с кислородом.

Сам Смоляренко ничего не делал. Он сидел на койке рядом с Варановым и держал его левое запястье своими толстыми волосатыми пальцами.

Время шло. Товарищ Варанов получил отсрочку. Постепенно отливала синева с мясистых губ, набрякшие веки уже не давили глаза с неодолимой силой.

Смоляренко поднялся и сказал отчетливо:

— Заурядный случай. Бесконечные заседания. Две пачки сигарет... Ничего, отлежится.

Доктор поднял глаза от товарища Варанова, посмотрел на старых обитателей палаты. И он увидел, как затравленно забился в угол Володя Гусятин, и как, приподнявшись на локтях, тревожно смотрит на Варанова бывший майор Шихаев, и как Желонкин, застыв в неудобной позе, скривил рот и стал похож на большую хищную птицу, которая присматривается, а нельзя ли здесь кого-нибудь клюнуть. И доктор улыбнулся:

— Гм-гм... Заурядно... Тяжелейший случай! Года четыре назад такой приступ кончался некрологом. А нынче — шалкшь! Верно я говорю, Гусятин? Видал, как я товарища Варанова из лап злодейки вырвал? Запомни!

Дородная Нина Васильевна не узнавала главного врача. Самое удивительное, он действительно говорил о зауряднейшем случае, но гордость так и распирала его. «Честолюбивым делается старик, — снисходительно подумала Нина Васильевна, — раньше так не хвастался... Еще в горздра-ве начнет хвастать...»

Нина Васильевна стояла спиной к Гусятину и не заметила, как Володя, слушая простигодушную и немного неловкую похвальбу доктора, оттаивал. Володя уже едва заметно улыбался и кивал головой в знак согласия. Он верил и не верил Смоляренко, но главное — ему впервые по настоящему захотелось поверить.

Володя видел, как люди только что победили смерть. Точно такую же, что вот уже три года охотится за ним. Здоровым кажется, что смерть у всех одинакова. Не-ет... Володя убедился — у каждого своя. К нему приходила несколько раз. Правда, он не смог бы рассказать, какая она, потому что сознание уходит раньше, чем он успевает рассмотреть ее. А когда сознание возвращается, смерти рядом нет. И Володя не знал, трудно ли врачам отпугнуть ее. А теперь знал. Он видел: трудно, но все-таки можно...

В палате говорили шепотом. Товарищ Варанов спал. Врачи ушли, у койки Варанова осталась нянечка. Пришла Галочка, раздала на ночь лекарство, сделала Парамону укол. И выключила свет.

— А Манька жива? — спросил в темноте Шихаев.

Ему никто не ответил. Желонкин лежал и прислушивался, что делается в животе. Володя Гусятин думал про жизнь. Один Парамон все

никак не мог успокоиться. Он поднялся с постели, простучал костылями к двери.

— Что за привычка, ходить после отбоя? — прошипела в коридоре увидавшая его Галочка.

— Организма отбоя не признает, — так же шепотом ответил Белянин. — Приспело... Вы медицина, знать должны...

В туалете Парамон достал из кармана дневную норму таблеток. Три розовых, две белых. Тряхнул на ладони, понюхал, сморщился. Потом бросил их в унитаз и спустил воду. Прислушался. Тихо в больнице после отбоя.

Парамон грузно прислонился к стенке, не опираясь на костыли, которые, стараясь не шуметь, поставил рядом. Достал из другого кармана пинажмы ленту шинельного сукна. Аккуратно подсучил штанину и принялся деловито растирать культу. Он морщился и кряхтел, ему было больно. Но он растирал покрасневший обрубок долго, он знал, как делаются воспалительные процессы.

14

Утром нянечка, дежурившая у койки товарища Варанова, заметила Маньку и на глазах у всех прихлопнула ее святым тапочком.

Аттила Шихаев пережил Маньку не надолго. Ему устроили ванну, и после купания, порозовевший, убаженный, Шихаев тихо отошел.

Игнат Желонкин выписался из больницы дня через три. Для пробы купил в хозяйственном магазине бутылку политуры. Выпил, остался жив. Живет и по сей день.

Парамона Белянина, несмотря на его умение поддерживать процесс, доктор Смоляренко выгнал. Кума отчаянно ругался, а потом успокоился и сказал:

— Сами жрите калики-моргалики...

Товарищ Варанов сократил употребление сигарет и запретил курить в своем кабинете.

А Володя Гусятин еще лежит в больнице. Верит в операцию, которую ему сделают, когда он немного окрепнет.

БИЙСК ПОЭТИЧЕСКИЙ

Бийск—родина замечательного сибирского поэта Ильи Мухачева. Мастер пейзажа, тонкий лирик, своими яркими колоритными стихами он открыл Горный Алтай на карте советской поэзии. По решению Бийского горисполкома именем Ильи Мухачева названа одна из улиц города.

Но не только эта улица напоминает о поэте. Не один десяток лет существует здесь литобъединение, созданное в свое время Ильей Андреевичем. Стихи и рассказы членов этого объединения печатаются в городской газете, в „Алтайской правде“, альманахе „Алтай“, „Сибирских огнях“.

Сегодня мы предоставляем слово поэтам-бийчанам. Инженер Георгий Рябченко, журналисты Иван Меликов и Виталий Шевченко выступают в альманахе впервые. Стихи Михаила Длуговского, автора сборника „В кругу друзей“, уже знакомы нашим читателям.

□□□□□□□□□□□□□□□□

Георгий РЯБЧЕНКО

С Т О Л Б

Он ночью свален бурей был.
Лежал среди борозд
Под светом молний голубых,
как воин,

во весь рост.

А ливень зло ходил в штыки.
Текла, как кровь, вода.
Фарфоровые кулаки
Сжимали провода.
И мчалась весть

под шалый свист

В нагорные места.

Столб,

словно раненый связист,
Не покидал поста.

Памяти испанского
поэта Гарсиа Лорки.

Волн разъяренных рокоты.
Молнии режут мрак.
Сvastiки черной работы
Печатают тяжкий шаг.

И кренился где-то лодка.
Надежды к спасенью нет.
Падает мертвым Лорка
Головой в кровавый рассвет.

И пляшут чужие тени,

И светится лунно нож.
Гибнут земные гении
За самый затертый греш.

Земля! Распрячься от горя!
Счастливым твой час

Ты слышишь, ^{пробьет.}
как гордо море
О завтрашнем дне ^{поет!}

О ПОДЛЕЦАХ

Живут спокойно с мозолями,
Живут спокойно с портфелями,
Живут со своими болями
И часто — с чужими феями.
Живут спокойно

и мудрствуют
И зачастую — лукаво,
И зачастую чувствуют
Себя почему-то правыми.
Живут.

И даже не верится,

Что, правдой сердец пыля,
Под ними ^{спокойно вертится}
Добрая слишком
Земля,

А не горит ^{под ногами,}
Предъявляя право свое,
Когда подлецы шагами
Меряют душу ее.

Женщина ведет хмельного мужа
Вдоль осенней улицы рябой,
По соседским сплетням ^{и по лужам}
В дом, ^{что стал постылою судьбой,}
Где нужды ^{и радости}
не видно,

Из тоненькой пеленки,
От марганцовки рыжей.
С улыбкой над ребенком
Склонилась мама ниже.
В лицо ей —

брызги гроздьями,
А в сердце —
искры смеха...
В парной белесой роздыми
купают человека.

Иван МЕЛИКОВ

НА ЛУГУ

Словно пышная пуховина,
Повилика лежит на лугу.
Свежий запах стоит полынный,
Жарко девушке на стогу.

Он клубится, густой и тонкий,
Запах смятой в копне травы.
Стогomet уронил кепчонку
С запрокинутой головы.

ДОЖДЬ

Солнца тонкая обичайка
Сеет плотный палящий зной.
Челноками точеными чайки
По основе снуют речной.

По горячим доскам парама
Промелькнула косая тень...

Вдруг нежданные взрывы грома
Распороли набухший день.

Потянуло прохладой сладкой
В мягком воздухе над рекой,
Дождь посыпался, как из кадки,
Благодатный, рясной такой.

Луга оделись шелком
Густых и нежных трав,
И громко перепелка
Кричит во мгле дубрав.

И польхает марево
Весенних тонких дней.
Горят зеленым заревом
Хлеба степи моей.

После долгих тревог и бедствий
И невзгод, что в боях испытал,
Я в траву забреду, как в детстве
В речку светлую забредал.

Сизоперой листвою пырея
Ветер балует, шевеля.
Пусть ласкает меня и греет
Стосковавшаяся земля.

ПРЕДОСЕННЕЕ

Словно кто-то медь забросил
В голубой простор полей.
Невидимкой вкралась осень,
Крася кудри тополей.

Отгремели лета грозы.
Вот и к нам на Белый мыс
С увядающей березы
Принесло помятый лист.

Т А Й Г А

Бубенчики немые хмеля
Висят на гибких тальниках.
Густые травы в темных елях
Не прорубить косой никак.

Сплетенья буйной ежевики
Неосторожно мнет нога.
И словно сучья кедров диких,
Несет олень свои рога.

Виталий ШЕВЧЕНКО

ПОСЛЕДНИЙ МАМОНТ

Шерсти рыжие клочья
На впалых боках обвисли.
Путая дни и ночи,
Упорно своих он ищет.
Бродит, как в поле ветер,
Старый вожак
 без стада...
Страшно, если на свете
Нет сильных
 и верных
 рядом.
Когда же гигант,
 скитаясь,
Почуял,
 что род его вымер,

Грузно побрел,
 шатаясь,
Тропами роковыми.
Заживо камня,
Лег на траву устало.
Тягостью стало зрение,
Лишнюю сила стала.
Тоской заболел упрямой,
Такой,
 что и жить
 не хочется.
...Умер последний мамонт
От одиночества.

* * *

Нет у жизни конца,
 нет у жизни начала.
Громяхают эпохи,
 бушуют и стыннут, как лава,
Оседают,
 прессуются,

переходят в земные пласты
И лежат, как могилы,
на которых не ставят кресты.
А Земле хоть бы что...
Молодеет!..
Лишь изредка хмурится.
День и ночь перед Солнцем
в шали облачной
кружится,
Подставляет светилу
охотно крутые бока
И летит,
и творит...
И мотает на бедра
века.

Б И Я

Приземистым валун был,
крутолобым,
Зашорканным до глянцевого блеска.
Всосался в берег,
дескать, сдвинь попробуй
Теперь меня с насиженного места!
Ни выступа на нем,
ни заусеницы...
На солнце величаво
в брызгах шуруется,
Но Бия
не к приливанному
стелется,
Не перед ним бушует
и красуется.
Нет, волны льнут к утесам!
Вечно в ссадинах
Речных просторов стражи угловатые...
За стойкость
и за силу
тем громадинам
Подошвы Бия лижет
грубоватые.

Дана и сила:

 как ни странно,
Он может в крохотной горсти
С миров далеких и туманных
Любые вести донести.
Да что там вести...

 А рассветы?!
А эти блики на волне?!
Все это он —

 частица света,
Источник жизни на Земле.
Но и над крохой — чародеем
Стоит Косая на часах:
Ведь жить он и светить умеет
Лишь на высоких скоростях.
А чуть заминка,

 у заслона —
Небытие и мрак
 тотчас!
...Мы все по-своему фотоны:
Остановился —
 и погас...

Михаил ДЛУГОВСКОЙ

Х У Д О Ж И К

Опять уносит Бия льдины,
Они плывут, как островки.
И автор будущей картины
Этюды пишет у реки.

Нет ни мольберта и ни кисти —
Их живописец не берет.
Пока тетради школьной листик
Запечатлеет ледоход.

В О Л Е Н Ъ Е М П А Р К Е

Качаются косые тени
По крутосклону на снегу.
Уходят гордые олени
В запорошенную тайгу.

Закат рекой багровой плещет.
В оленьем парке тишина.
Снежинки сыплет мне на плечи
Завороженная сосна.

* * *
Кто имя дал,
В каком, не знаю, веке.
Течет Светлана,
По камням шурша.
...Какая же была
У человека
Красивая
и светлая
душа!

* * *
Постукивает под рубашкой
Оно как будто молотком.
Порой ему бывает тяжело,
А мы не думаем о том.

А мы с тобою забываем
В заботах, хлопотах своих,
Что сердце отдыха не знает,
Работает без выходных.

КУКУШКА

Опять я на лесной опушке
Лежу на бархатной траве,
А надо мной звенит кукушка,
Отсчитывая годы мне.

Она отсчитывает строго,
Но почему-то каждый раз
То насчитает очень много,
То и десятка лет не даст.

БРАКОНЬЕР

Грянул выстрел,
Загудели скалы.
Эхо донеслось издалека.
На траву росистую упала,
Молоком недокормив сына,
Застонала жалобно и глухо.
Вздрогнул лес...
Птиц смолкли голоса...
Медленно тускнели маралухи
Скорбные, стеклянные глаза.

Электронная библиотека АКУНЬ, електронна



В. СЕРЕБРЯНЫЙ

НАРОДНЫЙ

О черк

Валио Мачкасова в детдоме считали артистом. Стоило загрустить, задуматься товарищам, как этот тихий длинный парнишка начинал весело декламировать:

— По улице слона водили...

— Затеяли сыграть квартет...

Или грохочет за окном гроза, изломанные огненные вилы молний, кажется, вот-вот подденут присмиривших детдомовских сорванцов, а Валька, торжественно воздев руки к гудящему от дождя окну, возглашает:

— Навозну кучу разрывая,
По небу полуночи ангел летел...

Народный артист РСФСР
В. П. Мачкасов в роли
Гордея Кичигина в спектакле
«Чти отца своего».

Ребята оживятся, заулыбаются, позабудут про недавний свой страх.

Этим смешным попури Валька научился у отца — тот работал в театре при политотделе Восточного фронта. Валька смотрел представления, в которых выступал отец; в свободное время вместе пели песни. Под отцовской огромной рукой было тепло и покойно.

Потом были проводы. Валентину дали знамя, объяснили, кому его надо вручить, что сказать. Валентин очень волновался, но сказал все правильно. И когда командир, которому он отдал знамя, поцеловал красную материю, а потом и Вальку, оказалось, что глаза у командира мокрые.

— Дан приказ: ему — на Запад,

Ей — в другую сторону...

У Валькиных родителей получилось наоборот: отец остался на Восточном, а мать направили на Запад, бить зарвавшихся белопанов.

По дороге на польский фронт мать завезла Валентина в Самару, в детский дом, где уже были двое его младших братьев и сестренка.

Голодовали, болели. Братья умерли. Детдомовцев увезли из голодной Самары в Калугу. Чтобы не ушли в беспризорники, в поезде их оставили без штанов.

Некоторые, кто поотчаяннее, все равно убежали. Привяжут одну подушку к голове вместо шапки, две — к ногам, обмотают тело одеялом — и на станциях поживленнее выскакивают через окна.

Валентин был из дисциплинированных. В Калуге на вокзале воспитательница распорядилась: «Ждите здесь, никуда не уходите», — и исчезла. Потом подъехало несколько саней. Один возчик спросил:

— Кто тут детдомовские?

Все ребята бросились к саням, Валя остался: сказала ведь воспитательница, ждать.

Пришел вечер. Ночь. Наступило утро. Воспитательницы все не было. Только тогда решился Валентин уйти.

О детдоме никто ничего не знал. В привокзальной столовой Валентина покормили чечевицей, супом из воблы; предложили остаться работать — выносить помой, колоть дрова. За печкой постелили соломы — там спал.

Потом пел песни в поездах. За это кормили. Наконец, нашелся человек, который показал Валентину, где горно. Там сказали, что детдом недалеко от города — всего в восемнадцати километрах.

Вышел за город, добрал до развилки, о которой ему говорили. Его дорога уходила в лес. Деревья стояли высокой черной стеной между белым снегом и белым небом.

Снег поскрипывал под лаптями. Сзади слышался шорох. Валентин быстро оглянулся. Не волки ли? Говорят, их тут много.

Никого. Показалось.

Но дальше уже идти не мог. Было страшно. И назад возвратиться не смел. Зябко ежился, пританцовывая, косился на лес.

Наконец услышал со стороны города мерное притопывание копыт и скрип полозьев. Лошадь с заиндеветой бородой свернула на проселок, поравнялась с Валентином. В санях сидел, укутавшись в тулуп, мужик.

— Дяденька, можно я к вам сяду?

Мужик хмурым взглядом окинул Валентина с головы до ног.

Валентин внезапно почувствовал все дыры на своем пальтишке.

— Я те сяду! — прогудел мужик и на всякий случай взмахнул кнутом.

Валентин нерешительно оглянулся в последний раз на город, тосливо на лес — и побежал за санями.

Так и пробежал все восемнадцать километров, назад все-таки не свернул.

И правильно сделал. Потому что скоро детдом повезли обратно в Самару.

...Ждали заграничного писателя коммуниста Мартина Андерсена Нексе. Того самого, на чьи средства содержался их детдом. К приезду гостя приготовили своими силами спектакль. Вале досталась роль Степана Разина. Наверное, потому, что ростом взял. А так — какой из Вальки атаман? Слишком уж добрый.

Но когда на сцене появился Вовка, который играл палача, и стал, подбоченившись, нетерпеливо поигрывать фанерным топором, Валья и вправду почувал себя атаманом, которому осталось пройти с достоинством последние несколько шагов в своей жизни. Стало жаль себя, но — что делать! — он истово перекрестился, неторопливо поклонился честному народу, опустил на колени и положил голову на плаху. Еще больше поверил в свою казнь, когда на мгновение заметил или скорее почувствовал повлажневшие глаза гостя в первом ряду. Вообще-то его нельзя было не заметить — такая большущая прическа из седых волос. Прямо как Маркс, только без бороды...

Но тут палач взмахнул топором — и все исчезло в кромешной тьме. За сценой громко ударили в барабан. В зале кто-то испуганно ойкнул.

Свет снова зажегся. Валентин, улыбнувшись, поднялся с колен. В зале захлопали в ладоши, радостно завизжали. Нексе, не вытерев слез, бросился обнимать Вальку, посадил его рядом с собой и больше не отпускал весь вечер.

Валька думал: писатель, а сам вроде поверил, что мне голову отрубили... Как ребенок!

Валька еще не знал, что именно от этой детской доверчивости заграничного писателя ему так хорошо сегодня игралось.

Валька еще не знал, что такая вот детская доверчивость, такое открытое чувствам сердце и делают художника — большим художником, писателя — большим писателем, человека — большим человеком, коммунистом.

Знал он только, что не забудет никогда этих добрых глаз, этих слез в резких складках у доброго рта, этих твердых, но ласковых рук...

Знал, что сегодня он самый счастливый на свете. И, может быть, впервые поверил по-настоящему в то, что будет актером.

Юность принято изображать, как пору особой горячности и нетерпеливости человека, необыкновенной щедрости души. На самом деле, просто в юности человек знает еще очень мало, весь запас любви у него обрушивается на это немногое, и потому кажется, будто бы ее больше. В юности почти нечего терять, кроме детства — поэтому, наверное, начинающие поэты чаще всего пишут о детстве, которое не вернется... Зато сколько у юности впереди и как она уверена в том, что будущее от нее никуда не денется! Как она умеет ждать!

Валентин уже твердо знал, что жизнь его будет посвящена сцене. Он только не знал, когда и как это получится. Он ждал.

Отец, вернувшийся с гражданской войны, забрал Валентина домой. После седьмого класса Валентин несколько лет лазил по столбам с витками проволоки через плечо, а вечерами, усталый, бежал вместе с приятелями на репетицию в заводской клуб: сцену любил не он один. Но, наверное, он умел любить сильнее, чем остальные. Однажды председатель Средневолжского крайисполкома, посмотрев спектакль синемблужников, кивнул в сторону долговязого Валентина и сказал кому-то:

— А почему бы этому пареньку не пойти в театр?

В театре директор, усталый человек с какими-то уходящими в сторону глазами — будто говорит он с тобой, а думает совсем о другом, — два раза перечитал записку на бланке: «Прошу определить способности и помочь, если...»

— Электромонтер, значит. — Директор продолжал смотреть куда-то мимо, но Валентин весь подобрался:

— Да.

— А знаешь, сколько платят артистам? Ты сколько получаешь?.. У нас будет ровно в пять раз меньше. А о будущем ты не думаешь? У тебя сейчас хорошая специальность, а в театре... Пока молодой — будешь, допустим, играть, а потом — и специальность потеряешь, разучишься, и в театре не будешь нужен.

Валентин ничего не отвечал, силился только понять: нарочно его запугивают, что ли? Не хочет принимать, так пусть бы прямо и говорил!

Директор утомленно пожал плечами:

Как знаешь, мое дело предупредить. А смотреть тебя некому все равно. Приходи к открытию сезона, осенью. Только зря это. Не советую.

«С голоду он, что ли, такой квелый? — испуганно думал Валентин. — Недоедают они здесь?»

Но без театра он уже не мог.

В театр попал лишь зимой — в так называемый вспомогательный состав. Когда заболел актер, игравший в «Соборе Парижской богома-

тери» Тристана-палача, режиссер, задумчиво измерив глазами долговязую фигуру Валентина, подозвал его:

— Зайди ко мне за ролью. Попробуем тебя ввести...

На репетиции артистка, игравшая роль Эсмеральды, которую Тристан должен нести на руках, запротестовала:

— Да он же меня уронит!

Валентин вспыхнул от смущения и обиды, подхватил на руки артистку и три раза подряд пробежал с этой ношей по лесенке на эшафот и обратно.

— Вот! — растерянно сказал он, когда опомнился, и чуть не уронил ее в самом деле, потому что ему стало вдруг неловко. Артистка соскочила на пол и, нагнувшись, стала поправлять туфлю. Режиссер улыбнулся едва заметно:

— Видите, не уронил.

Артисты весело рассмеялись, кто-то похлопал Валентина по плечу: «Молодец!»

Валентин облегченно засмеялся со всеми.

Вскоре товарищам пришлось удивляться: на какую роль ни сунут этого новенького — «разговаривает», хотя вроде и не было времени учить текст. А все объяснялось так просто: память хорошая, запомнил каждое слово, сказанное со сцены. Да отец еще помогал.

Павел Иванович сам отдал сцене много лет жизни, но был не только актером, а еще и коммунистом; партии же нужно было в то время, чтобы он работал судьей. Так же, как позднее — председателем колхоза и на многих других работах. Но это было все потом, а пока отец и сын ночами разбирали роли в очередной пьесе; Валентин читал всю пьесу наизусть, а Павел Иванович довольно шурился на него и пытливо вглядывался в худое, почти мальчишеское лицо: сохранит ли сын увлеченность? Неужели и вправду пронесет дальше эстафету, которую пришлось вот выпустить из рук?..

Режиссерам очень нравилось давать Валентину комические роли — считали, что, если парень такой длинный, это уже смешно. Остальное он доделывал сам, чувствуя, чего от него ждут. Так что даже как-то целый сезон поработал в цирке, выполняя не совсем понятные танцы с напарником, вдвое меньшим по росту. Это было время массового увлечения Патом и Патационом... Что ж, из песни слова не выкинешь. Да и стыдиться, собственно, нечего: работал честно, над профессией своей никогда не смеялся; как тогда понимал свою задачу, так и старался.

Рос советский театр — с ним рос и Валентин Мачкасов. Не зря же давали Валентину Павловичу роли Второго вожака в «Оптимистической трагедии», Держиморды в «Ревизоре», Перчихина в «Мещанах»... Да что их считать, роли! Много их было.

Но все это игралось в слабых периферийных театрах, и как бы ни старался Валентин Павлович, ему все казалось, будто обидела его судьба, подсунула искусство второго сорта...

Театр в Дзержинске с самого рождения стал нарушать какие-то

общепринятые правила и обычаи. Прежде всего, он и родился-то незаконно: здание построили в складчину несколько заводов города. Незаконнорожденные не очень скоро разрешили и проблему зарплаты. Потом они нарушили технологию создания пьес: инсценировку «Повести о настоящем человеке» писали чуть ли не всем театром.

Оказалось, что смелость и вправду города берет. Да еще какие! Дзержинцев пригласили в Москву.

По ходу спектакля раненый Комиссар, которого играл Валентин Павлович, спрашивает у медицинской сестры, приходя в сознание:

— Москва?

— Москва!

И никто из зрителей не догадался, отчего повлажнели тут глаза у Комиссара и сестры. Чтобы понять, нужно было в эти секунды взглянуть за кулисы. Глаза у дзержинцев сияли, а по щекам текли светлые слезы радости.

Ведь это их приняла Москва!

Успех, большой успех! Спектакль показали на столичных сценах несколько десятков раз; их пригласили на телевидение, записали на Всесоюзном радио.

Валентин Павлович вздрагивающими от волнения пальцами открыл журнал «Театр». Правду сказали товарищи — вот:

«Умными живыми глазами вглядывается комиссар в лица раненых палаты сорок два.

— Ну что ж, хлопцы, давайте знакомиться, — добродушным баском обращается он к соседям. И как будто сама жизнь, шумная и страстная, врывается в тягостную госпитальную тишину.

Вот, приподнявшись над подушкой, Воробьев — Мачкасов увлеченно играет в шахматы с Кукушкиным: огорчается неудачным ходом, хохочет, выиграв у партнера фигуру, китро подмигнув палатной сестре, он передает Мересьеву, только что принесенному из операционной, припрятанные для него письма».

«В исполнении Мачкасова прикованный к постели Воробьев действительно жил, жил

АЛТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ГРАФИКА

За последние годы не большее развитие на Алтае получает книжная графика. В оформлении книг Алтайского книжного издательства постоянно участвуют художники В. Туманов, Ю. Кабапов, Я. Свеч, И. и Л. Цесюлевич, А. Щеплянов и другие. Книжки стали оформляться красочнее, профессиональнее.

В ноябре 1965 года на состоявшейся в Москве Всероссийской выставке книг и книжной графики, наряду с работами известных мастеров, экспонировалась обложка к книжке стихов Ивана Фролова «Лесные доктора», выполненная Илзой Цесюлевич.

На вклейках этого номера альманаха читатели могут ознакомиться с некоторыми образцами алтайской книжной графики.

В. Раменский



И. Цесюевич. Иллюстрации
к книжке И. Фролова
«Лесные доктора».



В. Раменский. Иллюстрация к повести В. Шишкова «Тайга».

жадно и полнокровно. Артист создал образ большого, светлого, страстного и волевого человека»...

— Еще «Вечерку» погляди, — не унимались друзья.

В газете — письмо пенсионерки-москвички, смотревшей спектакль по телевизору:

«Откровенно говоря, я не ожидала, что «Настоящий человек» в постановке периферийного театра так может захватить меня. И плакала, когда увидела на сцене борьбу комиссара Воробьева со смертью...»

Валентин Павлович вдруг начинает часто моргать. А что делать? Ему, периферийному актеру, за выступление в столице присвоили звание заслуженного артиста республики! Не каждый день бывает.

Но не только в этом дело. Аплодисменты и благодарные взгляды зрителей были и в Самаре, и в Якутии, и в Ашхабаде, и на Украине, и на Дальнем Востоке, и на Горьковщине... Образ комиссара Воробьева — вот что волновало его сейчас по-особенному.

Когда тебе под пятьдесят, будущее свое видишь яснее, точнее, чем в юности; меньше уверенности в том, что сделаешь все намеченное, а позади накапливается достаточно много утрат, с которыми трудно, невозможно примириться.

Нет, Валентин Павлович не оплакивает ушедшее. Он слишком любит и уважает жизнь. И, насколько хватает силы, просто старается вырвать, что можно, из ненасытной пасти Времени. Ему усердно помогает в этом верный и неутомимый друг — фотоаппарат, который умеет и останавливать мгновенья, и возвращать их... Но фотография — все-таки только фотография. А вот на сцене Валентин Павлович снова и снова проделывал чудо: возвращал к жизни и дорогого его сердцу комиссара Воробьева, и десятки других таких комиссаров, и вместе с ними — главного своего комиссара — родного отца, коммуниста, человека, сумевшего, когда понадобилось партии, отказаться от любимой профессии, — а что может быть труднее этого!

Заслуженный...

Как будто бы ясное, радостное слово.

Народная артистка СССР Тамара Макарова писала дзержинцам: «Приезд ваш в Москву дает повод подумать о многом нашим маститым и избалованным коллегам»...

Но такое ли уж ясное это слово — заслуженный?

Макарова писала:

«Не теряйте и дальше драгоценной силы правды и вдохновения, не старейте от успеха, не успокаивайтесь. Старайтесь и дальше жить не результатом, а процессом созидания...»

Валентин Павлович стал все чаще судить себя новым судом — и получалось, что трудно, очень трудно не посрамить свое звание. Конечно, от радости признания крылья выросли. Но и груз прибавляется — требовательность к себе.

Что было самого сильного в его Воробьеве? То, что порождено встречами с хорошими людьми, любовью к ним. То, что ему близки мироощущение Воробьева, его взгляды.

Но вот Валентину Павловичу довелось играть Мармеладова в «Преступлении и наказании». Далекая ему ситуация, далекие люди. Он и сам не пьет, и пьющих не выносит, а Мармеладов — алкоголик законченный...

В годы, когда Валентин Павлович играл Мармеладова, очень модным стало выражение «современное прочтение спектакля». Смысл в эти слова вкладывался разный. Одни считали, что современный спектакль должен идти по возможности без декораций и без занавеса. Другие — что актеры в современном спектакле должны изо всех сил скрывать чувства действующих лиц и говорить полупшепотом. Третьи — что осовременить спектакль — значит вложить в него новый смысл, значит поручить Шекспиру, Гоголю или Мольеру прокомментировать сегодняшние события.

Валентин Павлович с уважением отнесся к этим поискам. Но ни скрывать чувства Мармеладова, ни использовать этот образ в качестве наглядного пособия для работников медвытрезвителя не стал. Он решил, что современное прочтение образа — это такое прочтение, в котором использованы современный уровень замысла драматурга и волнующие современного зрителя реалистические изобразительные средства. Его Мармеладов — порождение той царской России, которую рисовал Достоевский. Латышские, алтайские, тбилисские, брестские, алма-атинские зрители увидели в коротком эпизоде маленького, раздавленного невыносимой жизнью человечка (это несмотря на крупный рост и внушительное сложение артиста) — и поняли все: и кто виноват в горе Мармеладова, и какая эпоха идет на сцене, и что творится в душе этого старика. Актер понял своего героя, прожил сердцем его жизнь — и сам содрогнулся и заставил содрогнуться зал. В надтреснутом, безнадежном голосе, которым Мармеладов рассказывал случайному собеседнику о своей дочери, все явственно слышали крик нестерпимой душевной боли...

Идут годы, актер добивается новых удач, новых озарений — но не стареет от успеха, не успокаивается, а испытывает все большее чувство ответственности перед Зрителем, перед Театром.

Барнаульцы привыкли видеть заслуженного артиста В. П. Мачкасова в ролях положительных, в ролях хороших людей, пусть даже изломанных жизнью, как Мармеладов, но неизменно вызывающих зрительскую симпатию, сочувствие. И вдруг на очередной премьере мы ловим себя на том, что появление Мачкасова на сцене возбуждает какое-то необычное чувство: недоверие, раздражение... Что нас тревожит? Походка человека, не обращающего внимания на то, через что он шагает? Хищно оттопыренные руки? Холодный, что-то прикидывающий, оценивающий взгляд? Какая-то резвость, неуловимо напоминающая поросычю? Так и кажется, что этот благообразный се-

добородый старец с вылезавшими из коротковатых рукавов дебелыми руками вот-вот жадно всхрюкнет и кинется к добыче.

Это старик Гордей Кичигин в спектакле «Чти отца своего» причмался поживиться за счет сына, которого юношей выгнал из дому, чтобы не кормить... Еще одна очень надолго запоминающаяся сценическая удача. Смелая, яркая игра. Кажется, вот-вот актер перешагнет границы жанра... Нет, не перешагивает. Валентин Павлович твердо убежден: на сцене можно ходить на голове, если этого потребует художественная правда. Но если она не требует — и малейший пережим испортит образ, лишит его убедительности.

Валентин Павлович остается убедительным. И зрители уносят со спектакля большой заряд ненависти к эгоизму, стяжательству, уносят заостренное чувство справедливости, которую хочется назвать классовой, уносят нетерпеливое желание активно вмешаться в жизнь там, где это требуется...

В декабре прошлого года Валентину Павловичу Мачкасову первому на Алтае присвоено звание Народного артиста РСФСР. Заслуженное звание! Сын народа, выросший с народом, всю жизнь учившийся у народа, щедро отдает все, накопленное в уме, в сердце — народу.

НАВСТРЕЧУ
50 - Л Е Т И Ю
О К Т Я Б Р Я

П. ПАРФЕНОВ

Поход на Гатчину

Воспоминания участника

Восемнадцатого октября 1917 года Славгородский городской совет по телеграфу прислал мне в Барнаул полномочия на Второй Всероссийский съезд Советов. Сообщал сразу же и наказ: требовать перехода власти к Советам!

Съезд Советов назначался на двадцать пятое октября (седьмое ноября — по новому стилю), и нужно было спешить. Но эсеровская алтайская губернская земская управа, членом которой я состоял, решила не отпускать меня из Барнаула, угрожая репрессиями.

— Все время вы в разъездах. Отделы ваши запущены. Заменить вас некем, — сказал мне председатель управы А. Н. Новиков, когда я сообщил ему о полученной телеграмме. — Как хотите, Петр Семенович, но мы категорически возражаем и, если поедете, вынуждены будем исключить вас из состава членов управы и сообщить вашим избирателям.

На другой день утром я выехал. В этот же день, вечером, земская управа вынесла длинное постановление об исключении меня из своего состава. В мотивах, между прочим, наряду с упоминанием моей «незаменимости», указывалось, что я поехал делегатом на съезд, зная заранее, что он собирается произвести свержение Временного правительства и устроенных им земских учреждений, и факт этот якобы «является совершенно недопустимым для общественного работника поведением».

Трудно было ездить по железным дорогам в те времена! Места в вагонах брались с боя, порядка не было, администрация обессилела, рабочие ей не помогали. Учтя это обстоятельство, я снарядил себя в военные доспехи, которые совсем было забросил: авось поможет!

С большими приключениями удалось устроиться в Новоникола-

евске на поезд прямого сообщения Иркутск—Петроград, хотя на всех углах висели объявления, что «военнослужащие, офицеры и солдаты, едущие на запад, получают билет вне всякой очереди».

Сравнительно благополучно мы проехали Омск, переменили там паровоз и от станции Куломзино свернули на Тюменскую железную дорогу. Казалось многим, что дальше все пойдет по-хорошему.

Но перед Ялуторовском, на глухом темном разъезде, поздней ночью по всему поезду пронеслась нерадостная весть: «Паровоз отцеплен. Мы стоим!»

Кем отцеплен, как, при каких обстоятельствах — объяснялось различно, со всевозможными, прямо сказочными, вариантами. Нервы взвинтились. Пришлось накинуть на плечи шинель и вместе с другими идти выяснять причины остановки.

Оказалось, что наш паровоз действительно уже прицеплен к встречному эшелону с фронтовиками. Их собственный паровоз «сбежал», так как они гнали машиниста из самого Екатеринбурга и требовали от него, под угрозой расстрела, максимальной, невозможной скорости.

Пассажиры наши решили паровоза не отдавать. Машинист тоже, хотя и робко, но достаточно настойчиво заявил, что припасов у него хватит только до Ялуторовска. Публики с нашего поезда собралось много, большинство солдаты, и тоже почти все вооруженные. Повылезали из вагонов и купцы, которые помоложе и посмелей. Обе стороны сплачивались, у тех и у других выявлялись вожаки, самозванные лидеры.

И вот на самой линии, под яркими фонарями нашего паровоза, началась грозная словесная перепалка:

— Вы кто такие? Вы — тыловики, оборонщики. Вам куда спешить? Небось, недавно от баб-то! — наступала противная сторона.

— А вы-то? Дезертиры! Самовольники! Кого вместо себя оставили в окопах? Немцев, небось? Торопитесь под юбки! И не стыдно вам! Когда мы были на фронте, то не убегали. У кого из вас есть «Георгий»? А у нас есть!

— Знаем мы эти «Георгии»! Вы их получили от царских генералов! Невелика честь! Вон у тебя какая морда-то, в хлебопеках был? Сразу видно буржуя! Мы не из таковских. Мы стоим на советской платформе и спешим домой, чтобы подтянуть брюхо толстопузым! — смело нападали первые.

После такой «теоретической» подготовки началась и практическая свалка. Усилилась жестикуляция. Послышался смачный мат. За сверкали дула винтовок и наганов. Кто посмелей, стал равняться плотной стеной к «своим»; трусливые и осторожные начали искать убежища за вагонами и высокой насыпью, в кромешной осенней темноте.

В этот горячий спор, готовый закончиться ненужным кровопролитием, решили вмешаться делегаты съезда, знакомые между собою.

Мы начали с того, что указали на солидарность свою с теми, кто

выражал открытое сочувствие власти Советов. Познакомили фронтовиков с нашими мандатами и наказом и, по их требованию, во всеуслышание прочитали свои документы. После этого, от имени всех делегатов, я выразил уверенность, что солдаты-фронтовики, сторонники Советской власти, мешать нашему проезду не будут.

Мы попали в цель: на противоположной стороне раздалась голоса в нашу поддержку.

Вслед за мной выступили другие делегаты, указали на то, что задержка наша в пути может совсем по-иному разрешить вопрос о прекращении войны, а следовательно и о законной демобилизации. В интересах самих фронтовиков оказать нам всемерное содействие, чтобы правительство Керенского впоследствии их не выловило по деревням и не отдало под суд.

Противной стороне, особенно ее активной головке, нечего было возразить. Она слишком много авансов надавала будущей Советской власти. Вожак ее, рослый детина и, в общем, добродушный парень, пожал плечами: мол, ничего, видимо, с ними не поделаешь! — и пожелал нам счастливого пути.

— Коли так, вам надо ехать отсюда раньше нашего. Поезжайте, но только помните: без Советской власти и немедленного мира в Сибирь не возвращаться! — закончил он напутствием, встряхивая на прощание руки некоторым из нас.

Паровоз быстро отцепили и так же быстро опять прицепили к нашему поезду. Машинист был очень рад, и начальник разъезда помогал ему, лично исполняя роль сцепщика. Наконец мы тронулись дальше. Наши соперники сопровождали нас угрюмыми, но довольно миролюбивыми пожеланиями.

В два часа ночи на двадцать пятое октября наш поезд подошел к дебаркадеру петроградского вокзала. Сверху падал дождь пополам со снегом. Под ногами в грудях подсолнечной шелухи валялись свежие листовки с извещением ко всему населению от петроградской городской думы, от штаба военного округа, от Временного правительства, что «большевики угрожают государственному единству России», что «большевики — немецкие агенты» и что «большевиков следует заклеить и разгромить». Стало сразу же известно, что в городе происходит вооруженная борьба Военно-революционного комитета Петроградского Совета с Временным правительством, штабом округа и городской думой, и еще трудно определить, какая сторона победит.

По широкому и пустынному перрону молчаливо шагали патрули «Викжеля» — Всероссийского союза железнодорожников, заменявшие сбежавшую путейскую охрану. Они были в железнодорожной, преимущественно, форме и вооружены винтовками, которые болтались у них за плечом на широком ремне. У некоторых на рукавах имелись яркие красные повязки.

Викжельцы держали «строгий нейтралитет», но кое-какие сведения от них все же получить удалось. Мы узнали, что съезд Советов

открывается в Смольном, а на вокзале имеется специальное бюро для обслуживания делегатов, которое откроется утром.

Идти ночью в город они не советовали: там стрельба. Кроме того, для этого рекомендовалось запастись «нейтральным» вихельским пропуском, без которого после десяти часов ходить рискованно.

Через делегатское бюро, хотя и с большими трудностями, все же удалось вызвать грузовой автомобиль, который всех нас вместе с вещами доставил в Смольный.

Здесь всюду были заметны следы ведущейся борьбы: главные подъезды охранялись усиленными рабочими, солдатскими и матросскими караулами; на мраморной парадной лестнице, у главного входа, виднелось четыре пулемета и два легких полевых орудия; в садике, по обе стороны ровного шоссе, расположилась целая батарея с инженерной ротой, и солдаты, греясь, жгли костры. Везде, по всем направлениям бежали, спешили сотни людей с обветренными, озабоченными лицами, по-разному одетых, но с одинаковым блеском в глазах.

Внутри здания можно было пройти только со специальным пропуском за подписью Феликса Дзержинского, коменданта дворца, достать который, однако, не составляло больших трудностей.

Несмотря на ранний час, в коридорах и комнатах Смольного было очень много людей, они сновали всюду, как в муравейнике, спорили, волновались, насакивали друг на друга, группа на группу с горячим задором.

Разыскал здесь своего товарища по Барнаулу, старого большевика Матвея Цаплина, который выехал из Сибири раньше меня. Он уже вполне освоился с обстановкой, всю ночь ездил с отрядом подручника большевика Дашкевича по наиболее важным правительственным учреждениям, захватывая их, и теперь собирался пойти к себе немного вздремнуть. Остановился он в гостинице, на Лиговке. Я отправился с ним, перевез в его номер свой чемоданишко и получил от него более обстоятельную информацию о событиях.

— Съезд должен открыться вечером. Работают партийные фракции. Меньшевики и правые эсеры очень недовольны делегатским составом и намереваются работу съезда саботировать. Свой боевой центр они организуют в городской думе, вокруг которой собираются объединить против большевиков все «демократическое» население. Центральный комитет большевиков поручил особой «пятерке» по руководству переворотом и Военно-революционному комитету к открытию съезда обязательно покончить с Временным правительством и с его военной организацией. Поэтому сегодня предстоит самые горячие дела. — сообщил мне Цаплин, выражая сожаление, что он не спал две ночи, безумно устал и, очевидно, будет лишен возможности непосредственно участвовать в захвате Зимнего дворца, где помещается Временное правительство.

Возвратясь из гостиницы в Смольный, я направился в мандат-

ную комиссию, чтобы оформить свои делегатские полномочия. Секретарь этой комиссии В. В. Акундина, жена известного сибирского меньшевика, когда ознакомилась с моей анкетой, очень выразительно посмотрела мне в лицо, потом на погоны и стала настойчиво уговаривать меня уйти из Смольного в городскую думу. По ее словам, получалось так, что здесь остались только фанатики и авантюристы, а там, в городской думе, собирается весь цвет демократии, весь ее мудрый и ученый мозг. Чтобы лучше и скорей убедить меня в этом, Акундина пересчитала по пальцам всех думских и смольных вождей, давая последним весьма хлесткие характеристики. Пол конец она стала запугивать, что «большевиков все равно скоро разгонят и перестреляют». Очевидно, у нее были для этого кое-какие основания. Она являлась старым работником ВЦИКа и до отъезда известного меньшевика Ираклия Церетели на Кавказ состояла у него личным секретарем.

Однако я, послушав сначала Акундину, стал ей решительно возражать. Тогда она придралась к тому, что я, будучи делегатом от Славгородского уезда, имел мандат от Барнаульского совдепа, и категорически отказалась выдать мне делегатский билет с правом решающего голоса. Телеграмма из Славгорода, которую я имел с собой и предъявил ей, настроила Акундину еще враждебней. Пришлось обращаться за содействием к члену мандатной комиссии от большевиков товарищу Аванесову и лишь под его нажимом, после специального постановления комиссии мне наконец выдали делегатский билет.

По партийной линии я зарегистрировался у новожиженцев¹, но бывал на заседаниях и у большевиков, и у левых эсеров, и у меньшевиков-интернационалистов.

Все фракции в тот день спорили, главным образом, по одному вопросу, основному и решающему: о составе нового правительства и о порядке открытия съезда. Но так и не закончили споров до позднего вечера.

Открылся Второй съезд Советов совсем ночью, в первом часу, в большой переоборудованной аудитории Смольного, и, хотя открывал его по поручению ВЦИКа меньшевик Дан, сразу же после избрания президиума начались демонстративные заявления представителей правых социалистических партий и групп, а затем, как и предполагалось раньше, со съезда ушли правые эсеры, меньшевики, народные социалисты, плехановцы, бундовцы, украинские эсеры. Все они отправились в городскую думу, где вскоре организовали «Комитет защиты родины и революции». На съезде остались большевики, левые эсеры и объединенные интернационалисты — новожиженцы. Появление в президиуме Ленина, накануне только вышедшего из подполья, безусого и щетинистого, было встречено дружными аплодисментами.

¹ Новожиженцы — группа социал-демократов, постоянно колебавшихся между приглашателями и большевиками и объединявшихся в 1917 году вокруг полуменьшевицкой газеты «Новая жизнь».

На другой день, с самого раннего утра, опять начали заседать съездовские фракции. Большевики считали, что правительство должно быть организовано без правых эсеров и меньшевиков, покинувших съезд и не признавших завоеваний только что свершившейся proletарской революции.

Но левые эсеры и новожи́зненцы настаивали на том, чтобы съездовское большинство отправилось на поклон к правым эсерам и меньшевикам, с покорнейшей просьбой вернуться на съезд и обязательно делегировать своих представителей в первое советское правительство. А на это большевики не могли дать своего согласия.

Новожи́зненская фракция раскололась. Значительная часть ее поставила вопрос об уходе, если большевики не пойдут на уступки, и в редакции «Новой жизни» состоялось объединенное заседание. Сухой и низкорослый Мартов произнес блестящую речь в защиту своей позиции, уговаривая фракцию уйти со съезда, по примеру меньшевиков. Другие, наоборот, не менее энергично убеждали собрание не порывать со съездом и советовали Мартову, пока не поздно, одуматься, вернуться и принять участие в формировании правительства. Почти единодушно было принято решение оставаться на съезде, даже в том случае, если правые эсеры и меньшевики «все-таки не одумаются».

Съезд советов продолжался только два дня и три ночи; он принял декреты о власти, о войне и мире, о передаче земли крестьянам и закончился призывом Ленина к делегатам скорей выехать на места для проведения в жизнь принятых решений.

Съезд избрал новый состав ВЦИК и первый Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным. Причем, левые эсеры сразу не дали в Совнарком своих представителей, а сделали это несколько позже, во время второго крестьянского съезда и под его давлением, хотя во ВЦИКе их имелось значительное количество.

В рядовой делегатской массе царил здоровый оптимизм и твердая уверенность в несомненной победе Октябрьской революции во всероссийском масштабе. С кем ни приходилось встречаться в кулуарах, в столовой, на фракционных совещаниях, — почти у всех было приподнятое, праздничное настроение и чувство гордого общественного сознания, что активно участвуешь в великом историческом перевороте.

Но в то же время у многих делегатов была какая-то необычная тревога, что рабоче-крестьянская революция, так бескровно и так дружно начавшаяся, столкнется с необходимостью в человеческих жертвах. Помню, с каким задором набросился я, вслед за Ногиным, на товарища Антонова-Овсенко, докладчика от Военно-революционного комитета, когда он рассказал о случае самосуда над случайным артиллерийским генералом, который был брошен толпой в Неву. Под единогласное одобрение всего собрания было принято предложение: настойчиво рекомендовать Военно-революционному комитету впредь всячески пресекать подобного рода самочинные эксцессы.

Как только съезд кончился, я послал большую телеграмму Рум-

чероду¹, членом которого состоял до отпуска из армии, и сообщил о событиях, советуя приступить к организации переворота в Одессе и на румынском фронте. Я сделал это для того, чтобы опередить прямых представителей Румчерода, которые ушли со съезда в городскую думу. Такую же телеграмму отправил я и в Барнаул, местному совдепу, хотя впоследствии выяснилось, что ее задержал губернский комиссар Окорочков (будущий колчаковский министр) и адресату не передал.

Двадцать восьмого октября происходило расширенное заседание нового ВЦИКа с участием делегатов.

Только теперь для меня стало ясно, насколько сложна обстановка. Занятие генералом Красновым и бежавшим Керенским Гатчины и Царского села, восстание юнкеров в самом Петрограде, уличные бои в Москве, отказ генерала Духонина признать Советскую власть и начать мирные переговоры. А тут еще и левые эсеры, сильнейшая вциковская оппозиция, закатывают ультиматумы, и «Викжель», по их наущению, грозит всеобщей стачкой железнодорожников, если большевики не договорятся с «Комитетом спасения родины и революции», т. е. с правыми эсерами и меньшевиками, которые в нем засели.

Как далеко все это было от того радужного настроения, которое владело мной все предыдущие дни!

На этом же заседании я обратился к председательствующему с убедительной просьбой дать мне такую работу, чтобы я мог принять более активное участие в происходящих событиях, а не только голосовать за резолюции. Очевидно, моя военная форма послужила для него достаточным основанием, чтобы, даже не спрашивая о моих желаниях, направить меня к Подвойскому, в Военно-революционный комитет. Председательствующий дал мне к нему коротенькую записку.

Увы! Найти Подвойского оказалось не так-то просто. На третьем этаже Смольного разыскал я особый военный отдел, которым он руководил, но самого Подвойского там не было, и где он — никто сказать мне не смог. Ждал я его весьма долго и бесполезно.

Удрученный безрезультатными поисками, я решил спуститься опять вниз, к новому секретарю ВЦИКа, к Аванесову, чтобы через него найти наконец Подвойского. Навстречу мне попался Луначарский. Он, видимо, очень спешил и в ответ на мой поклон только растерянно и как-то странно махнул рукой. Но мне сразу же припомнился разговор с ним в кулуарах Смольного накануне, когда я представился ему как заведующий алтайским губернским отделом народного образования и он обязательно просил зайти к нему, имея в виду предложить мне работу в комиссариате просвещения. Раздумывать было некогда. Луначарский убежал, и я бросился вслед за ним: хотя немно-

¹ Румчерод — сокращенное название Исполнительного комитета Советов солдатских, матросских, рабочих и крестьянских депутатов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа.

го, но знакомый человек, авось, поможет! Он подошел к часовому — красногвардейцу, охранявшему вход в Военно-революционный комитет, предъявил пропуск и все так же поспешно направился дальше по коридору. Меня часовой задержал: не было пропуска. В очень энергичных выражениях я доказал красногвардейцу, что мне обязательно требуется догнать этого наркома, заверил его всячески, что сейчас же вернусь обратно, — и он уступил. А Луначарский тем временем уже скрылся в одной из комнат. Однако я ее заприметил и, как снег на голову, явился перед ним.

Только Луначарский теперь был не один: за небольшим и весьма скромным письменным столом, боком к окну и к выходу, сидел Ленин и с ним еще какой-то, неизвестный мне, товарищ с густой и длинной темной шевелюрой.

Этим обстоятельством я был очень смущен. Владимира Ильича я видел не раз, слышал и читал о нем еще больше, но встречать его на таком близком расстоянии мне не приходилось. Ни к селу, ни к городу стал я путано припоминать Луначарскому предыдущий разговор со мной, показывать торопливо записку, свой делегатский билет и даже старый румчеродовский мандат.

Луначарский сначала опешил, потом, видимо, вспомнил меня, но воспринял мой лепет и растерянность так, что я собираюсь сейчас просить о работе у него в наркомпросе. И, не давая мне закончить объяснений, он на меня набросился:

— Товарищ! Я вас очень прошу, отойдите для меня сначала министерство у юнкеров, а потом уж приходите ко мне договариваться о совместной работе! Вы — человек военный, вам это легче сделать, чем мне!

Такой его свирепый окрик, как ни странно, сразу привел меня в нормальное состояние. Уже более членораздельно и внятно я объяснил, в чем дело: я прошу не о работе, а о том, чтобы он помог мне разыскать Подвойского. Для убедительности я опять показал ему записку и рассказал, что ищу Подвойского несколько часов и все безрезультатно.

Но Луначарский на это ответил мне, возвращая записку, что он тут ни при чем и помочь совершенно ничем не может, рекомендует лишь обратиться к коменданту дворца.

Я извинился за беспокойство и совсем уже собрался повернуть к выходу, когда Владимир Ильич, который все время молча наблюдал наш разговор, неожиданно предложил мне показать ему записку и в двух словах рассказать, кто я и зачем нужен мне Подвойский. А когда я сделал это уже в более спокойной и деловой форме, он сказал: «Мы сейчас ваше дело уладим!», предложил мне сесть и стал настойчиво звонить по телефону.

Однако и для Владимира Ильича найти Подвойского оказалось не так легко. Ленин разыскивал его минут пять, не меньше, а мне они показались целой вечностью. Я был очень обескуражен тем, что отнимаю у Владимира Ильича так много времени и по такому, ка-

залось, незначительному поводу. Не раз и не два порывался я убежать из комнаты, но он выразительно взглядывал в мою сторону, призывая к выдержке и к спокойствию.

Наконец Подвойский нашелся. Очень коротко, но достаточно убедительно Ленин попросил его, чтобы он немедленно меня принял и договорился со мной о работе. Кстати, Подвойский в действительности оказался совсем близко от комнаты Владимира Ильича: здесь же в Смольном, только этажом выше. Ленин разъяснил мне, как лучше его найти, и это обстоятельство смутило меня еще больше.

Немного приподнявшись на стуле, Владимир Ильич подал мне руку и пожелал успеха. Тут я опять начал извиняться за беспокойство и за то, что совершенной мелочью отнял у него столько времени.

— Дать военному человеку возможность использовать свой опыт в интересах революции — вовсе не мелочь, товарищ! А с офицером из мужиков и познакомиться приятно: редкий экземпляр в нашей стране! — ответил на это Владимир Ильич, и на лице у него показалась едва уловимая, лукавая улыбка.

В заключение Ленин взял с меня обещание, что я обязательно поставлю его в известность о том, какую работу предоставит мне Подвойский, и вообще буду поддерживать с ним личную или письменную связь.

Лишь после того я наконец направился к выходу. Причем, только теперь мне бросилось в глаза, что в одном углу комнаты была невысокая ширма, а за нею стояла обыкновенная железная кровать казарменного типа, прикрытая таким же простым, серым одеялом.

Николай Ильич Подвойский принял меня без промедления, но предупредил, что располагает весьма ограниченным временем. Сразу же обнаружилось, что мы где-то когда-то встречались и были знакомы, но вспомнить об этом подробнее не было времени. Я отдал ему записку и предупредил, что хотел бы работать в комиссариате по военным делам. Подвойский бегло стал меня расспрашивать: где я работал, сколько времени был унтер-офицером, какую школу прапорщиков окончил, какой частью мог бы командовать. И не закончил еще своих вопросов, когда в кабинет без доклада быстро вошел мой товарищ по новожиизненской фракции, Канторович, в солдатской форме, вооруженный, видимо, свой здесь человек. Со мной он дружески поздоровался, а Подвойский поинтересовался, откуда и как тот меня знает.

Канторович начал порывисто говорить обо мне с самой лучшей стороны, хотя сам знал меня только по нескольким встречам на разных заседаниях. По его мнению, я мог бы справиться с самой большой военной работой.

Подвойскому, очевидно, этого было вполне достаточно. Он коротко стукнул ладонью по столу и сказал:

— Конечно! Назначаем вас начальником штаба к товарищу Муравьеву!

Я впервые слышал эту фамилию. Тогда Подвойский несколько

поморщился и объяснил мне, что Муравьев — полковник, левый эсер и сегодня назначен сразу на две должности: главнокомандующим военным округом и командующим фронтом против отрядов Краснова и Керенского, наступающих на Петроград.

Затем я захотел услышать, как отнесется к моему назначению сам Муравьев. На этот счет Подвойский успокоил меня заверением, что тот будет рад, что он переговорит с ним лично или, если понадобится, напишет ему записку. Мне надлежало немедленно выехать в район Царского села, где находился полевой штаб фронта и сам Муравьев.

От Подвойского я направился в канцелярию военного отдела, где мне в самом срочном порядке должны были заготовить необходимые документы.

Только здесь, из разговоров с товарищами, я получил некоторую информацию относительно полевого штаба, начальником которого меня только что назначили. Оказалось, что никакого штаба пока нет, а есть только один полковник Муравьев, который совсем недавно выехал на фронт с двумя адъютантами. Прошлой ночью казаки, под командованием Краснова, заняли после короткого боя Царское село, а наши войска частью сложили оружие, частью отступили. Кто командует нашими войсками, точно неизвестно. Есть только сведения, что среди них находятся Сиверс и Рошаль, вчера выехали Дыбенко и Антонов-Овсенко, а сегодня туда отправляется сводный полк под управлением Дашкевича. Какие силы у противника, тоже неизвестно. По одним сведениям — дивизия, по другим — два корпуса: казачий и стрелковый. Не знают этого даже красновские казаки, которые приехали в Смольный с мирными предложениями от имени своего полка. Известно только, что вчера и сегодня красновские аэропланы реяли над Петроградом, разбрасывая прокламации, и Царское село было занято после артиллерийского обстрела. А это значит, что у противника, кроме стрелков и кавалерии, есть авиация и артиллерия.

Такая информация, признаться, меня крайне смутила. В старой армии я командовал только взводом и полуротой и, кроме штаба полка, где изредка приходилось бывать по делам службы, о штабах вообще не имел ни малейшего понятия. Но мне было двадцать три года, у меня имелось очень много задора и свежих сил и, кроме того, взявшись за гуж, было поздно жалеть, что он слишком дюж.

Товарищи пожелали скорейших побед над врагом, и я покинул военный отдел.

Нагрузившись мандатами, захожу опять к Подвойскому за дополнительными инструкциями. У него сидит высокий, крепко скроенный и красивый моряк. Знакомимся. Это Павел Дыбенко. Он накануне только прибыл из Гельсингфорса, но успел уже побывать на фронте и рассказывает Подвойскому самые последние новости. По его словам, никакого фронта нет, а есть разложение и отступление от врага наших частей. Надо сколачивать скорей новую войсковую, обязательно смешанный отряд, надо двигать на фронт моряков, без которых,

по его мнению, фронт не удержится. И еще надо немедленно послать в красноармейские полки группу опытных агитаторов.

Выражается Дыбенко весьма откровенно и резко: такого-то, имя рек, следует гнать в шею! И чувствуется крепко, что у него это не только фраза.

Плохую рекомендацию дает Дыбенко и моему начальнику, полковнику Муравьеву: пьяница, слабовольный человек, бесхребетный вояка. Но за меня он ухватился. Сразу же командирским тоном предложил, не теряя времени ни одной минуты, ехать к Пулково, попытаться задержать отступающих и передать им, что не позднее завтрашнего утра он, Павел Дыбенко, прибудет на фронт и с моряками, и с артиллерией.

Дыбенко рассказал мне, где достать подходящую машину, какими путями лучше всего проехать к Пулково, и дал совет, как следует держаться с Муравьевым, чтобы тот «не выкинул какого номера». Затем он довольно бесцеремонно, но без всякого намерения унижить и оскорбить, выпроводил меня от Подвойского, и я отправился искать средства передвижения.

Однако найти автомобиль оказалось не так уж легко: то шофер не соглашался ехать, так как его машина «не приспособлена» для внегородских дорог, то нет бензина, то машина оказалась испорченной, то матросский отряд забронировал машину для себя «на всякий случай». Пришлось опять обращаться за содействием в военный отдел.

В конце концов машина все же нашлась, из нее совсем недавно высадили какого-то важного банкира, и она была вполне исправной. Кроме шофера и его помощника, нас поместилось в ней пять человек: я пригласил с собой прапорщика Кондратьева — делегата съезда и новожизненца, затем было двое рабочих-красногвардейцев, и со специальным поручением ехал еще большевик подпоручик Родов, изящный гвардеец с университетским значком на шинели.

Октябрьское солнце, тусклое и пасмурное в этот день, перевалило давно за полдень, когда мы двинулись наконец в сторону Пулково по широкому и безлюдному питерским улицам.

Сразу же за городом навстречу нам стали попадаться отступающие одиночки, в большинстве своем промокшие, измученные и озлобленные.

Первое время мы останавливались и пытались поговорить с ними, ободрить их и по возможности повернуть обратно. Куда тут! Пытались мы выяснить, по крайней мере, отчего они бегут, как силен враг, чем он располагает. Ответы были самые неопределенные. То врага несметная сила. То они сами два дня ничего не ели и их кто-то обманул: приглашал для охраны мирных жителей, а там оказались вооруженные казаки. То они просто не желают отвечать или ничего не знают.

Ясно было одно: с такими красногвардейцами воевать нельзя! Они жили порывом и на короткое время были способны даже на под-

виг. Но два дня их не кормили горячими щами, порыв прошел, наступило озлобление. Такие красногвардейцы даже были опасны, чем скорей они уходили с фронта, тем было лучше, и мы все радовались, что таких одиночек чем ближе к фронту, тем меньше встречалось, а некоторые из них, видимо, даже присоединились к идущим вперед рабочим отрядам.

Было несколько случаев, когда отступающие солдаты делали попытки высадить нас и завладеть автомобилем. В таких столкновениях нам всегда большую помощь оказывали рабочие: они вступали в переговоры, «стыдили» покушающихся на наш автомобиль, и дело всегда кончалось миром. Не будь рабочих, Родову, Кондратьеву и мне пришлось бы идти пешком: не помогли бы и наши советские мандаты.

Очень часто идущие навстречу отказывались сворачивать с шоссе. А оно было весьма узкое и для такого рода встреч малоприспособленное. Нашему шоферу пришлось несколько раз объезжать солдат по целине, и в конце концов с колесами приключилась авария. Ко всему этому заметно вечерело и дул отчаянный ветер с моря, пронизывающий насквозь.

Едва-едва, с большими приключениями, добрались мы наконец до таких мест, которые можно было назвать организованным боевым фронтом. Это был сводный отряд товарища Сиверса, прапорщика большевика, состоявший из остатков гвардейского полка и питерских рабочих. Отряд занимал Пулково. В отряде находился и Антонов-Овсеенко, личный авторитет которого здесь был очень велик. Кроме того, с часу на час отряд ожидал прибытия моряков и артиллерии, обещанных Дыбенко.

О своем главкоме тут ничего не знали и только высказывали предположение, что Муравьев мог находиться в соседнем отряде, которым командовал полковник Багин, отсюда верстах в трех или пяти. Постоянной связи с этим отрядом не было, если не считать случайных посетителей и местных крестьян.

С нашим приездом был организован большой митинг. Я выступил на нем с информацией об общем положении. Задавалось много вопросов, как на любом крестьянском сходе, и больше всего насчет того: нельзя ли как-нибудь договориться с казаками мирным путем и нельзя ли сделать это поскорей?

Пришлось обещать, что мир с казаками будет заключен сразу же, как только они сложат оружие и откажутся поддерживать Керенского, а к переговорам с ними будет приступлено не позднее ближайшего дня. Матросы были «обещаны» этой же ночью.

Нужны были кипучая энергия Сиверса и непоколебимая вера Антонова-Овсеенко, чтобы спаять этих уставших людей в единый поток на общей революционной позиции.

Совсем стемнело, когда мы с Кондратьевым и проводником-красногвардейцем от Сиверса на простой крестьянской телеге явились в «штаб фронта», к своему непосредственному начальнику. Везти

нас в темноте, по малоизвестной проселочной дороге шофер не рискнул, да и мы на этом особенно не настаивали.

Питерские рабочие, и с ними Родов, остались в отряде Сиверса. Полковник Муравьев, среднего роста и возраста подвижной человек, встретил меня весьма радушно, хотя и не без церемоний: с докладом через «дежурного офицера», который находился в той же полужилой даче. Но когда я предъявил ему свои мандаты, он нахмурился. Оказалось, что начальник полевого штаба у него уже имеется; на эту должность часа три тому назад им назначен полковник Вагин, и он уже послал его кандидатуру на согласование к Подвойскому. Мне Муравьев любезно предложил остаться при нем в качестве офицера «для особо важных поручений», и я без колебаний дал свое согласие, так как не за чинами сюда приехал.

Муравьев захотел, чтобы я обязательно доложил его начальствующему составу о последних событиях в столице, хотя сам знал о них лучше меня. И для этого отправил своего единственного «дежурного» в соседнюю дачу за Вагиным, Рощалем, Дашкевичем, Семеновым и другими командирами, которые составляли при нем нечто вроде генерального совета.

В ожидании их я расспросил Муравьева о положении на фронте. Картина была, примерно, такая. Вся наша армия, включая отряд Сиверса, состоит из остатков четырех полков и нескольких рабочих дружин. Есть два броневика, имеется больше десяти пулеметов. Но почти совсем нет ружейных патронов. Чувствуется нехватка мяса и других продуктов. Пришлось прибегнуть к реквизиции у местных жителей. Настроение и в остальных полках было неважное. Муравьев собирал их сегодня и основательно с ними поговорил. Это возымело действие. Солдаты обещали перейти завтра в наступление. Но сам Муравьев не придавал этому обещанию серьезного значения: по его мнению, воевать они не будут и надо требовать свежих подкреплений. В некоторых отрядах имеются случаи пьянства; пресечь это пока не было силы. Самыми лучшими дружинниками Муравьев считал рабочую молодежь, но их было мало.

Когда все собрались, главком представил меня собранию и открыл совещание, на котором я опять делал короткую информацию.

Впечатление об этом собрании у меня осталось тусклое. Не было на нем ни ярких выступлений, ни заковыристых вопросов, ни зажигательных речей. О расположении и силах врага сведения имелись весьма неопределенные. Одни уверяли, что неприятеля — тьма-тьмушая, другие — что за ним никто не идет. Сильно врезалось в память выступление двух, военного и штатского, которые утром прибежали из Царского села и, по их словам, были представителями местного Совета. Они буквально наводили панику. Уверяли, что у Краснова целая армия и пытаться разбить ее в лоб — значит напрасно проливать кровь. Они убеждены, что казаки не сегодня — так завтра обязательно займут столицу, и единственным выходом считали мирные переговоры. Но сколько я ни пытался узнать от них подробности о той



В. Туманов. Иллюстрация к сказке Д. Мамина-Сибиряка
«Серая шейка».



Ю. Кабанов. Иллюстрация к рассказу А. Гайдара «Чук и Гек».

реальной красновской силе, которую они «видели собственными глазами», оба давали очень путанные объяснения. Если бы это происходило в иной обстановке и они не были друзьями Муравьева, левыми эсерами, их вполне можно было принять за откровенных неприятельских агитаторов. Но главком слушал их дружески и, казалось, даже поощрял, хотя все заявления этих людей создавали определенное настроение, весьма далекое от необходимой бодрости. Несколько улучшалось положение только тем, что у Рошаля имелись совершенно противоположные сведения от других «беженцев», и он настойчиво и пламенно предлагал воспользоваться темнотой и холодом октябрьской ночи и врасплох напасть на врага.

Собрание закончилось без решения.

Надо было подумать нам и о ночлеге. Целый день сильнейшего напряжения, в разнообразной обстановке, давал себя чувствовать, несмотря на молодость; до головокружения хотелось есть. О том и о другом я просил у Муравьева. Увы, его гостеприимство имело свои пределы! Ночлег он устраивал нам легко и охотно, но насчет еды... оказывается, сам ничего не ел, кроме кринки молока и хлеба, которые каким-то путем «дежурный» достал для него из неведомых запасов. Но зато Муравьев мог предложить нам на выбор целый саквояж разных вин, который, по его словам, случайно ему «сунули» в дорогу. Только мы оба были непьющими и винными запасами главкома не могли воспользоваться.

Мы отправились искать себе приют в другом месте. Посыльного от Сиверса отправили обратно, на единственной штабной машине: для передвижения у главного командования оставалось только несколько грузовиков. Ему было поручено передать Сиверсу и Антонову-Овсеенко нашу информацию и наши требования: как можно скорей прислать сюда моряков, артиллерию, патроны, денег, хлеба и мяса.

Ночь была на удивление уютная и темная. Тишина немая и таинственная, от которой при каждом шорохе волосы становятся дыбом. Бродим с Кондратьевым как будто бы по улице, а попадаем в ямы или на забор. Наконец где-то неопределенно блеснул огонек и погас. Потом оказалось, что мы просто зашли за какое-то строение. Огонек показался вновь, почти рядом с нами и в самой реальной форме: в виде стеариновой свечки в окне ближайшей избы. Мы постучались, и нам сразу же, что называется, повезло. Встретили нас те самые царскосельские левые эсеры, которых я на совещании с таким недоверием и так пристально допрашивал. Они здесь уже освоились, приняли нас очень хорошо и накормили, чем могли, при содействии своей хозяйки, белобрысой и коренастой чухонки.

Когда мы ближе познакомились, один из них оказался учителем, другой военным фельдшером, а оба вместе — добрыми, мягкотелыми идеалистами. Мы проговорили почти до рассвета.

Выявились новые практические детали. Товарищи рассказали нам, что царскосельский гарнизон имеет около двадцати тысяч солдат и офицеров, относится весьма примиренчески к перевороту и, во

всяком случае, настроен против войны. Красновские казаки, наиболее активный элемент во вражеском лагере, так и не сумели склонить царскосельцев на свою сторону, за исключением одиночек из числа офицеров. Но, конечно, ежели гарнизон этот оставить без поддержки извне, солдаты могут заколебаться и по частям перейти на сторону Временного правительства.

У меня появилась новая мысль: отправиться в стан врага и, воспользовавшись некоторым опытом, откровенно, по душам побеседовать с царскосельским гарнизоном, с полковыми и ротными комитетами. Такое соображение вполне поддерживалось и состоянием нашего фронта. Доверяя личной отваге и настойчивости товарища Дыбенко, я все же весьма скептически относился к возможностям даже для него двинуть сюда матросов и артиллерию, особенно в такой короткий срок. Моральное состояние многих некоторых частей, особенно гвардейских, было самое неустойчивое. Нет патронов, нет провианта, нет технических средств. Все это, вместе взятое, создавало препятствия к наступательным действиям на врага и даже к простой обороне.

Свои мысли я высказал вслух. Наши новые знакомые отнеслись к ним одобрительно. Они оказались, как и раньше, большими скептиками насчет боеспособности наших войск и немедленные мирные переговоры с противником считали верным и единственным выходом из положения.

Однако, когда мы предложили им отправиться в Царское село вместе с нами, оба они под разными предлогами уклонились, считая лично для себя это и неудобным, и весьма рискованным: их в Царском селе знают, могут запросто пристрелить, зачем бравировать жизнью там, где это не вызывается обстоятельствами дела? Другое дело — Кондратьев и я. Мы офицеры, значит, в лагере врага — свои люди, нас там никто не знает, и агитацию вести нам не составит большого труда.

И хотя последний довод показался нам и не особенно убедительным и не совсем искренним, уговаривать их мы больше не стали.

Заснуть в эту ночь так и не удалось.

Было еще совсем рано, когда мы пришли к Муравьеву. Он, видимо, тоже не спал всю ночь. Это было заметно по его воспаленным глазам, по усталому и бледно-матовому лицу.

Муравьев писал свой приказ войскам, кажется, номер три. Он мне дал с ним ознакомиться. Это оказалось целой прокламацией, целой программой!

В приказе было много общих мест, много ненужных, псевдо-революционных фраз в левоэсеровском стиле, но и вполне достаточно огня, упрямой веры в победу, много энтузиазма. Только «капиталистический режим» всюду подменялся «обнаглевшей» и прочей «реакцией», а о советском правительстве говорилось недостаточно определенно. Я высказал свое мнение. Муравьев с некоторыми замечаниями согласился и стал тут же исправлять. Он намеревался этот приказ-

прокламацию немедленно отправить в Петроград, отпечатать там типографским способом и распространить потом среди красновских частей.

Мысль была, в общем, недурной. Но закончить эту работу ему не удалось. В комнату ввалились два обветренных моряка в бушлатах и один рабочий-красногвардеец и передали мне записку от Дыбенко. Он ставил нас в известность о своем прибытии во главе нескольких сот моряков и двух батарей с морской артиллерией и предлагал нашим отрядам немедленно подтянуться к нему ближе, указывая направление.

Эту записку я перечитал дважды. Мне казалось совсем невероятным, совсем невозможным верить ей, настолько она разрушала весь мой скептицизм. Но записка оставалась фактом, Дыбенко тоже, моряки с артиллерией уже не вызывали сомнений. Я передал записку Муравьеву.

Однако сам главком больше всего интересовался не фактами этой записки, а ее тоном. Он сразу же обратил внимание, что Дыбенко пишет нам, как старший, как начальник: он «предлагает» и «приказывает». Муравьев вознегодовал и вскипел.

Стоило много труда уговорить его не обращать внимание на тон записки и замять вопрос о «правах» морского наркома и сухопутного главкома, кто из них и кому подчинен. Но эта вспышка честолюбия ничего хорошего на будущее не обещала. Она еще сильнее укрепила во мне принятое ночью решение поехать в тыл к врагу, даже прибавила энергии.

Как только главком успокоился, я поспешил рассказать о своих намерениях. Но Муравьев решительно был против. По его мнению, я обязан немедленно отправиться к Дыбенко, выяснить детали о прибывшем подкреплении и обязательно добиться объединения под командованием главкома.

Завязался долгий спор. Не знаю, чем бы он закончился, если бы в него не вмешались прибывшие моряки. Один из них, старший, с рыжеватыми густыми усами и с энергичным лицом, оказался разумным парнем и к тому же левым эсером, однопартийцем Муравьева. И этот моряк активно поддерживал меня. Он заявил, что матросы прибыли и будут держать фронт до последней капли крови, но заветная мечта «всей братвы» — скорей помириться с братьями-казаками. По его словам, Дыбенко придерживается точно такого же мнения и даже вызывал охотников отправиться в тыл к казакам для мирной агитации. И тогда Муравьев наконец согласился.

Матросы и красногвардеец отправились восвояси. Через них я известил товарища Дыбенко, что уезжаю в Царское село и постараюсь незамедлительно сообщить оттуда подробные сведения о настроениях неприятельских войск. С Муравьевым мы также договорились, что я обо всем ценном буду доносить лично ему или Вагину. Условились об адресе, по которому нас можно разыскать в Царском селе.

День был в самом разгаре, когда наконец мы выбрались из де-

ревни. Больших трудов стоило разыскать подводу. Местные крестьяне, в большинстве своем весьма зажиточные и предприимчивые, смысла борьбы нашей не понимали и мало ей сочувствовали. Они были за мир: и с немцами, и с казаками, и с генералами. В нашем движении они видели какие-то корыстные, личные цели и всегда хмурились, когда от них что-либо требовали. Впрочем, не лучшего мнения были крестьяне и о казаках. Но во всяком случае они в большинстве своем были «за мир», и мы решили обстоятельством этим воспользоваться, хотя бы в таком пустяковом деле, как подвода. Мы тоже ехали призывать к миру, и нам казалось, что на этот факт крестьяне должны откликнуться. Увы! Ожидания наши были напрасны. «Идейной подводы», хозяин которой нам посодействовал бы, держал бы с нами связь, мы так и не нашли, хотя и побывали в местном сельском комитете и разговаривали с местными «активистами». За большие деньги уговорили мы одного мужика везти нас. Да и то согласился он лишь потому, что ему было «по пути». Всю дорогу мы не смогли выжать из него пары слов. Под конец у нас даже появилось сомнение, как бы он не выдал нас красновским казакам.

Но опасения наши оказались совершенно напрасными: даже при желании он ничего не смог бы сделать, хотя бы по той простой причине, что выдавать нас было просто некому. Не было таких рук, которые смогли бы нас принять.

Это обнаружилось сразу же, как только мы подъехали к Царскому селу. На всей дороге мы не встретили ни одной заставы, ни одного караула, хотя ехали главным трактом. Никто совершенно не заинтересовался тем, что два молодых человека в офицерской форме въезжают в город с неприятельской стороны и на весьма подозрительной двухместной мужицкой коляске.

Нас такое обстоятельство, признаться, очень удивило. Мы приготовились даже к обыску и на всякий случай запрятали подальше компрометирующие нас бумажки. В лучшем случае мы все же думали, что нас станут с пристрастием допрашивать: кто мы, откуда едем и зачем? Сколько мы волновались еще в деревне, сколько ломали голову, готовились к ответам на такие вопросы, как к должному, как к неизбежному! Сколько репетиций устраивали! И вдруг — никого. Не проявлено в отношении нас даже простого любопытства. Удивительно! Невероятно! Но факт.

Мы поражались еще больше, когда въезжали в самый город. Никаких признаков войны! На улицах, прямых и вымощенных, довольно оживленное движение: дети, женщины, очень много солдат и офицеров, почти все безоружные, ходят группами и в одиночку, с самым мирным видом. Везде много подсолнечной шелухи, много грязи, но ни окопов нет, ни проволочных заграждений, ни канав простых, ни заметной тревоги за свою жизнь.

У небольшого одноэтажного ресторанчика по Оранжевой улице мы расстались с возницей. Мирная обстановка в ближайшем тылу врага настолько придавала нам храбрости, что с ним я послал довольно

обстоятельное донесение Муравьеву, указывая на этот ресторан, как на место, где нас можно в определенное время разыскать. Правда, извозчик наш был по-прежнему молчалив и «себе на уме», но мы уже не опасались ему довериться.

В ресторане было немало народу. Больше всего военных: солдат и офицеров. Мы подсели в соседи к группе блестящих кавалергардов в надежде подслушать у них краем уха что-нибудь, что нас могло заинтересовать. Но они разговаривали о самых обыкновенных офицерских «делах»: о Ирине Михайловне, у которой такие изящные брови, о корнете Блюментале, которому всегда ужасно везет в «шмоньку», и нам даже стало скучно. Ничего нового! Как будто революции не произошло!

Невольно приходила мысль: не отступил ли куда-нибудь генерал Краснов со своей армией? Уж слишком мало походила такая мирная обстановка на ближайший тыл противника.

При ресторане, в задних комнатах, была бильярдная; мы прошли туда. Здесь народу еще больше — и все военные, а у самого бильярда живая очередь. Мы тоже записались в очередь и простояли в ней около часа. И опять не слышно никаких интересующих нас разговоров — ни о войне, ни о большевиках, ни о казаках.

И вдруг спокойствие сразу нарушилось. Неожиданно для всех где-то недалеко отчетливо и резко раздались громко шипящие выстрелы: один, два, три. Даже у лучшего игрока кий затрясся, и всем стало ясно, что работает артиллерия, и мы находимся в сфере огня.

Началась паника. Публика заторопилась уходить. Всюду закрывали ставни и ворота, как будто они могли спасти от артиллерийского снаряда. Движение на улицах быстро и заметно уменьшилось.

— Как вы думаете, чья возьмет? — обратился к нам с вопросом молодой и бритый казачий офицер с черными глазами, вышедший из ресторана вслед за нами.

Я внимательно посмотрел в его сторону. Офицер был бледен, чувствовалось по его тону и по виду, что вопрос задан неспроста, что для него он имеет большое значение. Мы разговорились. Офицер (он был есаулом) объяснил нам с удивившей нас откровенностью, что от этого вопроса зависит его личная жизнь. Но мы недоумевали, нам еще не все было ясно в его словах. Тогда есаул рассказал нам, что он начальник пулеметной команды Донского полка. Его лично знает генерал Краснов и весь штаб. Вчера генерал приказал ему выступить с командой и занять станцию Александровскую, а он не захотел. Краснов сам явился в команду, собирал офицерский состав и уговаривал выполнить приказ. Однако офицеры под влиянием своего командира тоже отказались. Тогда взбешенный генерал пообещал есаулу, что расстреляет его в первую очередь, как только возьмет Петроград.

По мнению есаула, войска, и в том числе казаки, настроены все против войны. Поддерживают Краснова только некоторые политические лидеры, офицеры гвардии и одиночки. Вчера здесь был Керен-

ский, приезжал сюда с дамами на автомобиле из Гатчины, имел намерение занять царский Александровский дворец, но красновские офицеры ультимативно потребовали его удаления из отряда, и Керенский, смущенный и обозленный, повернул обратно. Зато здесь постоянно Савинков, генерал-губернатор Петрограда. Он является ближайшим советником Краснова и находится при нем неотлучно.

Положение более или менее определилось. Казачий есаул познакомил нас с местной обстановкой так, что лучшего на первых порах и ожидать было нельзя.

Стрельба под Царским селом опять возобновилась, то усиливаясь, то затихая. И теперь это были не только орудийные выстрелы: вперемешку с ними отлично слышалась работа винтовок.

С казачьим есаулом мы дошли до памятника Пушкину. Здесь он с нами простился. Но теперь мы чувствовали себя устойчиво и знали, что нам следует предпринимать дальше.

У первого встречного солдата мы спросили, как пройти в гарнизонный совет солдатских депутатов. Солдат осмотрел нас пытливо и настороженно, но сообщил все же подробный адрес, и когда мы наконец разыскали большое двухэтажное здание николаевского стиля, нам прежде всего бросилась в глаза разношерстная толпа солдат, стоявших вблизи, на углу. Солдаты были безоружны, но чрезвычайно возбуждены. К нам они отнеслись с нескрываемой враждебностью.

Через некоторое время мы заметили, что волнуются эти солдаты потому, что их не пускают в совдеп, в то время как все офицеры проходят туда свободно. У дверей стояли два молодых человека: один в кадетской форме, другой в унтер-офицерской; у первого сбоку висела шашка, на поясе второго был револьвер. Нас они охотно пропустили внутрь и даже вытянулись при этом «в струнку».

Недоумевая, мы поднялись на второй этаж, вслед за другими. Там, в большом Екатерининском зале, было сотни три офицеров и происходило заседание. Теперь мы наконец поняли, отчего солдаты на улице так сильно нервничают.

Председательствовал низенький, красный, толстый, угреватый полковник Греков. Говорил неуклюжий, аляповатый человек в форме капитана. С большим трудом я узнал в этом ораторе капитана Кузьмина, помощника главнокомандующего военным округом, бывшего прапорщика большевика в 1905 году и даже лидера красноярских железнодорожников. Теперь он призывал офицеров к защите Временного правительства и к борьбе с Октябрьской революцией. Но голос у него был нудный, усталый, неуверенный, совсем не военный, и слушали Кузьмина очень плохо.

После него короткую, но чрезвычайно неопределенную и невнятную речь произнес высокий, стройный прапорщик. Непонятно было даже, призывает ли он за или против казаков. Но сам он был, видимо, очень собой доволен и долго не хотел уходить с трибуны, когда ему начали шикать и свистеть.

Затем слово предоставили комиссару северного фронта Войтин-

скому, меньшевику, полувоенному человеку с типичным еврейским лицом. Только от него мы наконец узнали толком, для чего сюда созваны офицеры и что нужно от них начальству. Войтинский внятно объяснил и цель этого собрания и что от него требуется. Охрипшим голосом, с нутряным надрывом, он призывал собравшихся помочь «изнывающим силам демократии» захватить у большевиков Петроград: «Иначе большевистская анархия и солдатские пьяные погромы затопят страну в крови и погубят все завоевания революции». Войтинский указывал, что двух офицерских рот будет вполне достаточно, чтобы заставить большевиков уступить свое место общепризнанному правительству. Он уверенно предлагал: не медлить ни одной минуты, взяться за винтовки и идти на помощь казакам.

Потом выступил высохший, седой генерал с защитными погонями и заявил, что «история проклянет собравшихся господ офицеров, если они дадут укрепиться у власти новым самозванцам и сегодня же не займут столицы».

Настроение большинства, однако, понять было трудно. Заметно было только, что люди колеблются, волнуются, нервничают, каждый из них, слушая очередного оратора, в то же время думает свою особую и тяжелую думу.

Равновесие вдруг нарушил неожиданно появившийся рядом с председателем наш знакомый есаул; теперь мы узнали его фамилию: Карагозин. Он призывал собрание к миру, к братству, к любви. Он говорил о том, какая жестокая штука гражданская война, когда приходится убивать своего товарища и, может быть, родного брата. А зачем? Во имя какой цели? Что Керенский сделал для офицеров хорошего? Развалил нашу великую армию! Всех нас опозорил!

Сначала его перебивали. Сначала кричали: «Долой!» Но Карагозин говорил с жаром и чувством, и собрание присмирело. Скверно было только, что он ничего конкретного не предлагал. Голая общая формула — держи нейтралитет — в данных условиях еще ничего собой не предвещала. Но хорошо было то, что Карагозин прощупал настроение с иной стороны.

У Карагозина нашлись последователи. Правда, они были значительно слабее как ораторы и тоже ничего практического предложить не сумели.

Наконец выступил сутулый, с красивыми выпуклыми глазами пехотный подпоручик и произнес настоящую большевистскую речь, с горячим призывом против генералов, капиталистов и помещиков. Эту речь встретили свистом и шумом и долго не давали оратору говорить: требовали вывести из зала, с мест «клеями позором». Все же речь свою подпоручик закончил, и сочувствующие ему здесь нашлись.

Опять выступил капитан Кузьмин. На сей раз его речь была и очень короткой, и очень ясной. Теперь он уже прямо-таки приказывал: собрание закончить, брать винтовки и идти выручать Краснова. Но допускать до этого было никак нельзя.

По настойчивому требованию дали слово мне. Я полностью присоединился к прекрасным чувствам есаула Карагозина, но обратил внимание на тот факт, что на собрании нет ни одного солдата. Чья-то рука искусственно отстраняет их. Кто-то заранее преуказывает у нас различие интересов. Могут ли солдаты относиться к таким собраниям спокойно? Конечно, нет. Будут ли обязательными для них наши решения? Тоже нет. А без солдат у офицеров ничего не выйдет. Уже хотя бы потому, что они ведь могут нас отсюда и не выпустить. Посмотрите, сколько их на улице и как сильно они возбуждены! У них на глазах офицеры устраивают военный заговор. Поэтому я предлагаю: прежде всего пригласить сюда товарищей солдат, а потом уж вместе с ними решить: идти на помощь казакам или нет. Так будет и верней, и безопасней...

Но мне закончить не дали. В зал бомбой влетел Борис Савинков. Председатель стушевался и сразу уступил ему свой стул. Савинков с места в карьер собрание назвал «митингом, позорящим звание русского офицера», длинные прения охарактеризовал, как «недостойную и бесчестную торговлю душой и телом нашей родины». И эти явные оплеухи офицеры снесли! Очевидно, Савинков был известен этому собранию и импонировал ему и своим боевым видом и своей стройной, спортсменской фигурой, затянутой в английский френч и краги. А, может быть, собрание просто растерялось от неожиданности. Борис Савинков от имени Временного правительства и командующего армией приказывал: прямо с собрания идти на склад, брать винтовки и вливаться в казачьи части, это ободрит их и заставит разбежаться большевиков, агентов внешнего врага...

Всем нутром я почувствовал, что призыв Савинкова возымел действие. Раздались одобрительные голоса и аплодисменты, которых прежде здесь не было никому. Тогда я подошел к Кондратьеву и на ухо сказал ему, чтобы он сейчас же спустился вниз, снял у дверей караул и пригласил сюда солдат с улицы. Кондратьев немедленно исчез.

Какими долгими показались мне последующие минуты! А вдруг караул откажется подчиниться? Или солдаты заподозрят в этом какую-либо западню? Ноги мои, казалось, сами собой тянулись ближе к выходу.

А Савинков совсем почти уговорил офицеров: они в своем большинстве уже готовы были подчиниться его сильной воле, оставалось только назначить крепкого командира и вести их отсюда организованным путем.

Но вот в дверях наконец появился караульный унтер-офицер, несколько растерянный, и вслед за ним — целая рота солдат. Факт этот был равносителен взрыву сильнейшей бомбы. Савинков сразу поник, скомкался. Видно было, что он не привык иметь дело с такой публикой. Председатель оказался в страшном замешательстве: выводить солдат из зала у него не было ни храбрости, ни реальной силы, об-

суждать же вопрос при них — значит срывать всю конспирацию и подвергнуть себя большому риску.

Однако Савинков был опытным оратором. Он скоро нашелся и, обращаясь к солдатам, как ни в чем не бывало, авторитетно и покомандирски заявил:

— Офицеры только что единодушно решили идти на помощь правительственным войскам и выражают общую просьбу, чтобы солдаты присоединились к ним и последовали за своими испытанными в боях командирами.

Но это было слишком смело сказано! Поднялся невообразимый шум. Савинков так же быстро исчез, как и появился. Самочинное заявление от имени собрания, которое его вовсе не уполномочивало, было использовано мной и названо «возмутительным». Раздались голоса:

— Правильно!

— Это бесстыдно!

— Явный обман!

Солдатам я сказал, что мы обсуждали вопрос о помощи казакам, но еще ни до чего не договорились, а их пригласили на собрание, чтобы решить этот вопрос совместно. При этом я громко высказал свое мнение: надо помочь казакам не воевать, а скорей примириться. Я рассказал о решениях съезда Советов, об избрании им нового, рабоче-крестьянского правительства, которое уже признано всей страной, и нет причин не признавать его и нам.

Меня начали перебивать с места:

— Ого, каким он гусем оказался! Ишь, куда гнет! Это позор! Провокация!

Но зато солдатская часть сразу же и дружно поддержала:

— Правильно, товарищ! Позор не мир, а война! Надо ее скорей кончать! Казакам — никакой помощи! Да здравствует власть Советов!

Закончил я свою речь вполне конкретным предложением: сейчас же, на этом собрании, избрать две делегации. Одну послать к большевикам, другую — к казакам, и потребовать от обеих сторон, чтобы они немедленно примирились. К вечеру уже можно будет считать войну законченной.

Из офицерской среды опять раздались сильные негодующие крики и свист. Но солдатская сторона была дружной и голосистой, она шумела и волновалась, одобряя мое предложение.

Полковник Греков отказался вести заседание; он «устал», он «не имеет достаточного опыта». Я предложил удовлетворить его просьбу и выдвинул кандидатуру есаула Карагозина. В офицерской части опять движение, а среди солдат недоумение: как это, произнес вроде неплохую речь, а председателем выдвигает казачьего офицера? Уж нет ли тут какого подвоха?

Раздались голоса за меня, за Войтинского, за Кузьмина, за члена президиума гарнизонного совета Сигачевского. Долго спорили, долго

подсчитывали, но ни один из кандидатов не собрал большинства. Начали опять переголосовывать и наконец сошлись на Карагозине.

Слово взял неуклюжий гвардейский унтер-офицер. Сразу видно: из запаса, из крестьян. Без всяких предисловий он предложил: казаков разоружить, с немцами заключить мир, Советскую власть признать. Он грозил буржуям и мировым акулам революционным народным судом.

Офицеры постепенно начали покидать заседание, некоторые себе под нос, а другие во всеуслышание выражали недовольство. Но в зале опять зазвенели страстные речи, только помогать генералу Краснову больше почти никто не предлагал. Даже офицерская половина теперь выдвигала таких ораторов, которые ратовали главным образом за полное невмешательство, за строгий нейтралитет. Даже Войтинский. Кузьмин, Греков и седой генерал приутихли.

Наконец Кондратьев внес предложение о прекращении прений. Прекратили. Внес другое: решить, посылать ли помощь генералу Краснову? Помощь провалили единогласно, под шумные, долгие аплодисменты. Даже Войтинский с друзьями не рискнул голосовать за — воздержался. Внес третье: избрать две делегации. Но тут Войтинский выступил с заявлением, что настоящее собрание якобы не правомочно решать такой ответственный вопрос от имени всего гарнизона, что для этого надо спросить мнение полковых и ротных комитетов. Видно было, что он просто хочет сорвать решение, для этого и прикинулся неожиданным сторонником солдатских комитетов. Но формально Войтинский был прав, и его поддержали и некоторые солдаты, и комитетчики. Решено было: через два часа созвать общее собрание войсковых комитетов всего гарнизона и на нем специально обсудить вопрос о гражданском мире и выборах делегаций. Карагозин внес к нему поправку: «С обязательным приглашением на это собрание представителей комитетов от всех казачьих частей». Опять начались горячие прения, опять выступали и Войтинский, и Кузьмин, и старый генерал, но все же поправка прошла подавляющим большинством голосов.

На этом «офицерское» собрание, созванное по распоряжению генерала Краснова и губернатора Савинкова, закончило свою работу. Результаты получились совсем обратные, нежели ожидали его инициаторы.

С фронта все еще слышалась редкая стрельба. Казалось, что она даже стала ближе, явственней, может быть, это происходило оттого, что сильно вечерело, подмораживало, воздух делался прозрачным. На улицах публики стало совсем мало, только беспризорники, дети бездомных «беженцев», как и всюду, бравировали своей неустрашимостью, звонко радуясь каждому выстрелу.

На офицерском собрании мы завели знакомство с товарищем Сигачевским, с подпоручиком-большевиком Алешиным и еще ближе сошлись с Карагозиным.

Все вместе отправились в ресторан по Оранжевой улице. Но

двери были наглухо закрыты: стрельба, по-видимому, действовала на нервную систему хозяина.

Тогда Сигачевский пригласил нас к себе. Жил он далеко за дворцами. В служебных помещениях нового царского дворца находился штаб красновского корпуса. Мы проходили мимо и захотели поинтересоваться, что там сейчас делается. Охранялся штаб слабо. У нас не спросили даже пропусков, несмотря на то, что Сигачевский был солдатом с одной лишь лычкой на погонах. Штабных работников, однако, в помещении было достаточно, все они что-то делали, куда-то торопились с бумагами, названивая шпорами с бархатным малиновым звоном. Но самого Краснова и начальника штаба не было. Карагозин встретил знакомых и узнал, что дела у Краснова плохие: казаки разбегаются, митингуют, все надежды штаб возлагает на восстание в Питере и на поддержку со стороны войсковых частей местного гарнизона. Мы усмехнулись. Здорово информирован красновский штаб, если он еще мог рассчитывать на поддержку царскосельцев!

Нас направили, как мы просили в виде предлога, в дежурную часть, где принимались добровольцы. Здесь, к удивлению, мы встретили целую группу тех самых офицеров, с которыми были на собрании, и некоторые из них даже голосовали там, под конец, за наши предложения. Но они, в свою очередь, увидев нас, удивились еще больше, и мы были вынуждены поспешить из узкого штабного коридора на широкую улицу. Значит, офицерская поддержка у Краснова все же была.

На квартире у Сигачевского, в длинной и сырой комнате, я составил краткое донесение для Дыбенко и Муравьева. Подробности должен был лично доложить Кондратьев. Но вставала, казалось, совсем непреодолимая трудность: каким образом, каким путем сможет Кондратьев доставить это донесение? Нанять извозчика? Никто не поедет: страшно, фронт! А иных средств сообщения нет. Пришлось открыться товарищам, кто мы и зачем сюда пожаловали. Они даже не удивились — такое было время. И как только объяснились, вопрос разрешился весьма просто: у Карагозина в команде имелись лошади, он охотно предложил одну из них для такого дела. Кондратьев и Карагозин сразу же отправились отсюда в пулеметную команду, а мы все — на собрание комитетов.

Мы запоздали немного, но собрание еще не начиналось. Оказалось трудным в такой короткий срок всех оповестить. Мешали, несомненно, этому и непрерывная стрельба, и неопределенность обстановки. Кроме того, назначили собрание, неизвестно почему, почти за городом, в солдатском клубе второго стрелкового полка, в старой каменной казарме.

Совсем сделалось темно, когда собрание наконец открылось. Председателем избрали члена гарнизонного совета, молодого, худощавого вольноопределяющегося с эстонской фамилией Анвельт.

Как только стал обсуждаться вопрос о повестке дня, поднимается представитель комитета артиллерийского склада, бородатый унтер-

офицер, и заявляет, что ими получен ультиматум генерала Краснова: выдать ему не позднее, чем через полчаса, нужное количество патронов и снарядов. Унтер-офицер спрашивает, как им поступить — Краснов угрожает занять склад вооруженной силой?

Настроение сразу же у всех приподнялось. Единодушно принимается решение: этот вопрос обсудить в первую очередь.

Тот же унтер-офицер подробно докладывает, как на склад явились красновцы во главе с офицером, как начальник склада хотел выдать им патроны и снаряды, но комитет вмешался и выдачу приостановил, так как склад держит строгий нейтралитет. Тогда от Краснова прибыли к ним уже с ультиматумом, и это требование поддерживается теперь комитетом Донской дивизии.

Вслед за ним выступает член казачьего дивизионного комитета, высокий, строгий вахмистр. Он знакомит собрание с собой, откуда он родом, сколько у него земли имеется и кто ее обрабатывает. Затем коротко сообщает, что патроны им нужны «до крайности», но ежели собрание постановит отказать, то он обязуется упросить генерала отменить свой ультиматум. Собрание встречает его заявление о «подчинении» дружными аплодисментами. Вахмистр, довольный, ждет. Однако на часы поглядывает.

По этому вопросу высказывается несколько ораторов, и все они предлагают: комитет склада поддержать, патронов и снарядов никому не давать.

А время идет. Казак начинает нервничать, ерзать по скамье и все чаще поглядывать на дверь.

В зал заседания входят два казачьих офицера и несколько казаков, все вооружены с ног до головы, даже «страшные» пики имеются у некоторых. Собрание настораживается. Но казаки вызывают своего комитетчика и скрываются вместе с ним за дверь, гремя саблями.

Через несколько минут они возвращаются. Вахмистр-комитетчик просит слова. Ему дают, но на этот раз в порядке очереди, так что приходится ждать, и выступает он еще скромнее: собранию он передает теперь не ультиматум, а только просьбу, и объясняет, что патроны и снаряды нужны им не для наступления, а лишь на оборону, и просьбу свою подкрепляет низким поклоном «от всего казачества». Решили обсудить этот вопрос еще раз и дать высказаться двоим «за» и двоим «против». Однако наличие в зале вооруженных казаков действует на собрание весьма сдерживающе, хотя они упорно молчат. Никто не желает брать первым слово.

Тогда Алешин вносит предложение: вопрос и без прений ясен, давайте голоснем. Из дальнего угла кричат:

— Удалите казаков, они будут оказывать давление!

Казаки смущены, офицеры не меньше рядовых. Добровольно поворачиваются и уходят. Остается от них только комитетчик. Выносятся опять единогласное решение: патронов не давать, снарядов также. Казачий делегат, красный от напряжения, быстро встает и собирается уходить. Я догоняю его и ласково прошу, чтобы он остался при об-

суждении следующего вопроса. Он дает обещание. Через пять минут возвращается и молча садится на свое место. Его товарищи уехали, но собрание настроено нервно. Почти никому не верится, чтобы все этим закончилось. Ведь совсем недалеко отсюда убивают людей. Ведь у генерала, наверное, имеются более решительные представители.

Объявляется перерыв на десять минут. Когда собрание возобновляется, многих недостает, зал заметно пустеет. Я коротко докладываю по второму вопросу: как он возник и как следует, по-моему, разрешить его. Делаю старое предложение: выбрать две делегации. Принципиально вопрос принимается почти без прений и без возражений. Переходим к выборам делегаций. Здесь — осечка! Никто не хочет выставить свою кандидатуру, никто не желает подвергнуть себя возможному риску. Комитетчиком со склада вносится поправка: выбирать по одному делегату от каждой войсковой части. Но не все комитеты тут представлены. Принять такое предложение — значит сорвать вопрос. Доказываю, горячусь, мотивирую, что выбирать нужно сейчас же, на этом собрании и по пять человек в каждую делегацию; впрочем, можно и по три человека, только медлить с выборами нельзя. Председательствующий Анвельт меня активно поддерживает. Опять соглашаются, но все же в делегацию идти отказываются почти все, даже Сигачевский и Карагозин.

Опять объявляется перерыв, после которого заседающих остается человек с сотню, не больше. Наконец, когда перебрали по очереди почти всех, охотники «ехать мирить» нашлись, хотя и в ограниченном количестве: по три человека в каждую делегацию. Но выбрать их по настоящему так и не удалось: пришло известие, что казаки отступают и город занимают советские войска. Собрание в спешке закрылось.

Эти сведения оказались верными только наполовину. Казаки получили сильную нахлобучку от матросских отрядов, но еще держались. Отступать они стали лишь после того, как у них совсем иссякли патроны, а пополнить запасы не удалось.

Ночь опять была темная, тихая и жуткая. Грозное впечатление производили в такой темноте редкие и отчетливые выстрелы.

Электрическая станция в городе не работала, и нам больших усилий и времени стоило добраться до квартиры Сигачевского. Уснул я на этот раз крепко, как после изнурительной физической работы.

А в предутреннюю зарю казаки совсем покинули фронт и отступили к Гатчине. Туда же выбрался и штаб красновского корпуса; в суматохе он не сумел даже подобрать своих людей из двух действующих батарей.

Трехдневная попытка Краснова и Керенского овладеть рабочей столицей, таким образом, разбилась о революционную стойкость балтийских моряков на фронте и о «строгий нейтралитет» войсковых частей в самом ближайшем красновском тылу — в Царскосельском гарнизоне.

Рано утром на следующий день я отправился по начальству.

Мне было известно, что красновокских казаков в городе нет, но, как лотом оказалось, еще не заняли Царское село и советские отряды.

В гарнизонном совете, опустошенном, безлюдном и пустынным сегодня, мне наконец удалось узнать от случайных посетителей, что красногвардейцы находятся в трех верстах от города, на станции Александровской. Отправляюсь туда пешком порядком, по прекрасной толевой аллее, немного грязной, заезженной колесами, но совершенно безопасной.

На станции, занятой отрядом Сиверса и матросами, тоже решительно никто не обратил внимания, что с неприятельской стороны к ним идет неизвестный военный человек, хотя патрули группами ходили из дома в дом по станционному поселку в поисках оружия и продуктов. Ни Дыбенко, ни Муравьева здесь не было, и мне сказали, что они уже находятся в Гатчине. Удивляюсь немного, но с первым же сборным местным поездом еду туда.

В Гатчине сразу же обнаружилось, что мне дали неверную информацию: Дыбенко и Муравьева здесь нет. Оба гатчинских вокзала пока занимали красновокские казаки, и в городе распоряжался еще красновокский комендант. Но общая обстановка и тут была такой же, как и в Царском селе: местный гарнизон держал нейтралитет и на стороне Временного правительства находились только приехавшие казаки и одиночки-офицеры. Ходить по городу можно было свободно, на улицах много публики.

Штаб генерала Краснова и почти вся его наличная вооруженная сила находилась в огромном бывшем царском дворце. В нем же разместился Керенский со всем своим немногочисленным окружением. Только отошальные казацкие лошади были на улице и в парке, с голодухи обгрызая старичные липы, к которым они в большинстве своем были привязаны. Ко дворцу часто приезжали и от него уезжали автомобили, мотоциклы и пролетки. Видно было, что здесь сосредоточилась последняя надежда недавних российских правителей.

На некоторых углах вывешен четкий типографский приказ генерала Краснова, командующего экспедиционной армией, предлагающий всем офицерам местного гарнизона явиться к нему в штаб к десяти часам утра, сегодня. Всем ослушникам угрожал свирепый закон военного времени.

Я вспомнил, читая этот приказ, о вчерашнем офицерском собрании и решил «явиться» тоже. Время было как раз подходящее. Адрес был указан. У дверей — часовые, но меня опять пропустили без задержки.

И опять я очутился на обособленном офицерском собрании. Только народу было значительно меньше: шансы генерала Краснова, видимо, пошатнулись. Председательствовал толстый, косматый полковник, комендант города, а речь держал Савинков. Здесь же был и Войтинский, совсем присмиривший, опустивший голову, как мокрый индейский петух.

Савинков и тут был категоричен, четок и краток: надо оборо-

няться, победа вполне возможна, ему предлагают (кто — он умолчал) быть комиссаром обороны Гатчины, он согласен, но хотел бы заручиться для такой ответственной государственной работы доверием господ офицеров местного гарнизона. Доверие ему выражается без всяких споров, простым голосованием.

Больше вопросов нет и нет желающих говорить по «текущему моменту», но некоторые сильно ропщут: «Для чего, черт возьми, предлагали сюда явиться, угрожая военно-полевым судом? Неужели только затем, чтобы поднять руку за Савинкова?»

Да, только за этим! И собрание-то это созывалось по инициативе Савинкова. Отныне он хочет чаще советоваться с офицерами. Отныне господа офицеры являются его единственной и последней опорой. Бывшему террористу и метателю бомб в царей теперь хочется, видите ли, сродниться с русским офицерством. Ссылка на «закон военного времени» так себе, простая форма!

У дверей офицерского собрания и здесь шум, хотя и значительно меньший. Нескольким вихрастым казачьих голов очень интересуются:

— Какие такие секретные вопросы обсуждали господа офицеры?

— Уж не замышляют ли они измены?

— Не думают ли о предательстве?

Среди них и мой вчерашний знакомый вахмистр — комитетчик. Мы здороваемся, как старые приятели, и он несколько не удивлен, что встречает меня здесь, в дверях такого строгого учреждения.

Рассказываю ему об офицерском собрании, он мне — о настроениях среди казаков. За одну ночь с ними произошла большая перемена. Теперь вахмистр стоит за немедленный мир с большевиками. И только этот вопрос его сейчас особенно интересует. Жалеет очень, что отказался вчера стать делегатом, быть может, незачем было бы и в Гатчину возвращаться.

Идем с вахмистром в винный погребок, который хотя и закрыт с улицы, но со двора пройти в него можно. Здесь в присутствии встреченного хозяина и двух его молодцов выпиваем бутылку кислого вина и закрепляем нашу дружбу. Вахмистр записывает для меня свой адрес; рассказывает мне, как богато живет его батько, какой у них роскошный сад, и обязательно приглашает к себе в гости, как только наступит «замирение». Зовут вахмистра Игнатом Федоровичем Моисеенко, и он обязательно хочет уплатить за вино один. Мы долго спорим по этому пункту, нам очень весело, и я наконец уступаю, к его большой радости.

Уговариваемся с Моисеенко, что я непременно приду на заседание комитетов казачьих частей, которое состоится сегодня и на котором, по инициативе ряда комитетов и в том числе комитета Донской дивизии, будет обсуждаться вопрос о мире с большевиками.

Выходим на улицу и нам кажется, что погода стала иной, на мостовой меньше грязи, на лицах встречных меньше забот.

На углу, почти у самого дворца, группа солдат и казаков бурно обсуждает красновский приказ, и по смелым жестам, по уверенному

тону в голосах чувствуется, что генеральские силы надрезаны, что развязка действительно близка.

Заседание всех сотенных, батарейных, полковых и дивизионных комитетов красновской экспедиционной армии. Сотен пять народу, не меньше. За исключением дежурных конюхов, больных, активно не согласных и пассивных, здесь почти весь наличный казачий комитетский состав. Офицеров очень мало. И нет совсем никого из руководящей штабной головки. Тем лучше!

Председателем избирается вихрастый подъяесаул, представитель донского дивизионного комитета, левый эсер. Уверенным, привычным и крепким командирским голосом руководит он заседанием.

Собрание ведет себя очень бурно. Комиссар обороны Гатчины Борис Савинков, в новых начищенных крагах, с красивым желтым хлыстом в руке, пытается и здесь протащить себе доверие. Ему долго совсем не дают говорить, наконец подавляющим большинством предлагают выбраться вон из зала. Савинков сначала храбрится, кричит, требует, ссылается на то, как он вместе с Каляевым бросал бомбу в великого князя Сергея Александровича, какой он истинный народник и революционер. Собрание это трогает очень мало, казаки понимают одно: поддерживать Савинкова — значит поддерживать войну, а они собрались сюда, чтобы ее кончить. Шум и свист усиливаются. Негодование и протест возрастают. Комиссару обороны Гатчины, как побитой собаке, приходится поневоле уходить с заседания, хотя ему и очень не хочется, и очень обидно.

О том, что надо примириться с большевиками, спору уже нет.

Против такого предложения выступают очень немногие, да и те оспаривают его под соусом нейтральности, невмешательства, как будто бы не казаки, а кто другой были до сих пор самой активной контрреволюционной силой. Весь сыр-бор загорелся из-за деталей, из-за самой техники мирных переговоров. Как вести? Кому? На какой платформе?

— Надо требовать гарантий!

— Чтобы никого не трогали!

— Чтобы не было арестов!

Это кричит одна сторона, размахивая и лохматыми шапками, и жилистыми руками, и шашками, и чем только можно.

— Надо, чтобы у нас сохранили оружие!

— Чтобы нас немедленно отпустили домой!

— Организованно!

— На Дон!

— На Уссури!

— На Амур!

— А там еще посмотрим!

— А там еще поговорим!

А это надрывно кричат с другой стороны, с передних скамеек и от стола президиума, перебивая один другого.

И первое, и второе, и третье предложения, и все почти дополне-

ния к ним принимаются единогласно, поднятием рук и шапок. Вопрос, казалась бы, исчерпан.

Но откуда-то вынырнул блондинистый, безусый, в форме телеграфиста, тонкий викжелевец:

— Товарищи! А как же с новым правительством? Неужели волные казаки не примут участие в его формировании? Не дадут своего совета? Не скажут крепкого казацкого слова? Надо потребовать от большевиков, чтобы они обязательно сговорились с другими партиями. Чтобы правительство было всеобщим, социалистическим, народным! Чтобы...

— Требуем!

— Настаиваем!

— Поддерживаем!

— Дело такое, общественное!

— Надо поддержать обязательно!

Следующий вопрос, который требуется разрешить: от чьего имени будет говорить мирная делегация? От казаков? От штаба? От Керенского? И сколько делегаций надо выбирать? Две? Одну? Из скольких человек каждую? Из пяти? Семи? Десяти?

Решено, наконец, избрать одну делегацию. Ей поручается договориться со штабом, чтобы дал в нее своего представителя, и с Керенским, чтобы послал мирного делегата от себя.

— Или лучше пусть сам едет!

— Лучше сам, конечно. Лично!

— Прямо к Ленину!

— В Совнарком!

— В революционный комитет!

Опять несутся сильные, звонкие и задорные голоса со всех сторон.

После этого состоялись выборы и самой делегации. Попадает в нее и председатель собрания, и вахмистр Моисеенко, к несказанной его радости, которую он даже не желает скрывать. Значит, не зря он орал во все горло! Не напрасно расточал свое казацкое красноречие, выступая почти по каждому пункту!

Повестка исчерпана. Иных делегатов «качают» на руках, высоко, но бережно взбрасывая вверх. Вид почти у всех довольный, праздничный. Шутка ли сказать! Скоро, может быть, даже завтра домой, в свои хутора и деревни! Увидеть жен, пображничать со станичниками.

Гатчина, в особенности, солдатская и рабочая, волновалась. Советских отрядов еще не было, их ждали с нетерпением и любопытством с часу на час, митингуя и в клубах, и под открытым небом.

На Варшавском вокзале среди железнодорожников возбуждение: из Александровской говорит по прямому проводу сам Дыбенко и категорически требует, чтобы к аппарату позвали генерала Краснова или начальника его штаба. Но телеграфисты, связанные «строгим нейтралитетом» своей викжелевской организации, боятся нарушить дис-

циплину и не знают, что им делать. Каждую минуту они совещаются, куда-то звонят по телефону и наконец сообщают Дыбенко, чтобы он получил «разрешение от «Викжеля». Он, видимо, ругает их смачным матом, от которого барышни краснеют и трясут кудряшками, а мужчины возмущенно пожимают плечами.

Весь этот эпизод происходит на моих глазах. Я уговариваю телеграфиста дать мне возможность поговорить с Дыбенко. Но тоже безуспешно!

За моей спиной нет никакой вооруженной силы, хотя бы трех-четырёх решительных солдат. Они бы, конечно, тогда допустили бы меня к аппарату, «подчиняясь насилию» и заявив свой протест «всем, всем, всем».

Здесь же, на телеграфе, сидит румяный красновский казак — «для связи от штаба». Он видит и слышит все, но ни во что не желает больше вмешиваться, так как с сегодняшнего утра для себя решил, по примеру телеграфистов, «держаться строгий нейтралитет». Поэтому казак ничего не замечает, а чтобы его не втянули в инцидент с Дыбенко «как свидетеля», на некоторое время уходит из аппаратной на улицу подышать свежим воздухом.

Под вечер на центральном бульваре встречаюсь с казаками-комитетчиками, которых видел на заседании. Все они с красными бантами, с выпущенными чубами разгуливают по тротуару и демонстративно-задорно не отдают чести своим офицерам. Некоторые из них — на радостях, очевидно, — побывали в винном погребе, и это весьма заметно. Спрашиваю одного, другого о новостях. Охотно, с вымышленными подробностями рассказывают, что у Керенского было специальное заседание и от Временного правительства с мирными предложениями к большевикам едет сам капитан Кузьмин.

В эту же ночь в Гатчину приехал товарищ Дыбенко вместе с делегацией от красновских казаков; он договорился с ней о выдаче Керенского и подписал на свою личную ответственность особое соглашение.

Но красновцы нарушили это соглашение первыми. Они помогли Керенскому бежать.

На другой день генерал Краснов и полковник Попов были арестованы и поручик-большевик Тарасов-Радионов привез их в комендантуру Смольного. Но здесь и генерал Краснов и полковник Попов дали «честное офицерское слово», что больше не будут выступать против Советской власти, и были отпущены на все четыре стороны.

Красновские казаки, напутствуемые рабочими-красногвардейцами с песнями и музыкой поехали в свои станицы.

Гатчинская эпопея была закончена.

Обратный путь в Сибирь я проехал вместе с фронтовиками, и на этот раз наши интересы сходились.

Но ехали мы очень долго, больше трех недель. За это время петерские рабочие-красногвардейцы, матросы и солдаты одержали ряд новых побед. Городская дума была переизбрана, и большинство в ней

получили большевики. Эсер Руднев уступил свое место большевику Калинину, который был избран Питерским городским головой. Контр-революционный комитет «Защиты родины и свободы» потерял свою опору и должен был самораспуститься.

Активные эсеры, меньшевики и кадеты уезжали из пролетарской столицы в провинциальные города и на отдаленные окраины, чтобы отсюда повести новое наступление на Октябрьскую революцию, на Советскую власть.

Георгий ЕГОРОВ

ЧЕЛОВЕК УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ

Об авторе „Похода на Гатчину“

Петр Семенович Парфенов, автор «Похода на Гатчину», был поистине человеком удивительной судьбы.

Бывший учитель села Глубокого Леньковской волости, офицер царской армии в годы первой мировой войны, георгиевский кавалер, он был не только делегатом Второго Всероссийского съезда Советов, провозгласившего Советскую власть, но и принимал самое активное участие в защите красного Питера от контрреволюционных частей генерала Краснова, о чем рассказано в «Походе на Гатчину».

В дни колчаковской реакции в Сибири Петр Семенович Парфенов проник в контрразведку верховного правителя, носил погоня жандармского полковника, снабжал, видимо, не только каменское и барнаульское подполье секретными сведениями, документами.

Известен третий период деятельности П. С. Парфенова. После того, как фронт гражданской войны продвинулся за Байкал, Петр Семенович оказался там. Он был командующим одной из трех дальневосточных армий, а затем начальником политотдела штаба главнокомандующего вооруженных сил Дальнего Востока — бок о бок возвал с легендарным Сергеем Лазо. А после образования буферной Дальневосточной республики Парфенов был назначен председателем мирной правительственной делегации. Разносторонне образованный, обладающий дипломатическим тактом, находчивый, быстро ориентирующийся в любой обстановке, Петр Семенович Парфенов вел переговоры и улаживал всевозможные конфликты, на которые были горазды беспокойные соседи. Парфенов вел переговоры во Владивостоке, Харбине, на ст. Пограничная, в Мукдене, Чите, в Пекине. Эта работа вызывала ярость у белогвардейских эмигрантов, выгнанных из своих поместий, лишенных миллионных достоиний. В декабре 1920 года делегация получила от начальника семеновской контрразведки следующую записку: «Передайте архикоммунисту Парфенову, что по распоряжению начальника военного района он будет повешен при первом же проезде через Гродеково. Фонарный столб уже приготовлен».

Но не так-то легко было испугать Петра Семеновича Парфенова. Он с хладнокровием и невозмутимостью делал свое дело — отстаивал мир на Дальнем Востоке. При этом не раз проезжал через ст. Гродеково — место дислокации семеновских банд.

Но не только дипломатической работой занимался в это время Петр Семенович. В 1920 году там, на Дальнем Востоке, он создал свою знаменитую песню «По долинам и по взгорьям».

Вот что писал в № 21 журнала «Красноармеец и краснофлотец» за 1934 год П. С. Парфенов о том, как создавалась эта песня:

«В феврале 1919 года, на заре повстанческого движения против колчаковщины я написал песню «Наше знамя», посвященную моему земляку и другу Ефиму Мамонтову и одобренную писателем А. С. Новиковым-Прибоем:

Мы, землеробы, будем вольно
В родной Сибири нашей жить
И не дадим свое приволье
Ни отменить, ни изменить...

Написал я ее на проверенную с музыкальной стороны мелодию своих ранних песен «На Сучане» (от 10 июля 1914 года):

По долинам, по загорьям
Целый месяц я бродил,
Был на реках и на взморьях,
Не жалея юных сил...

и «Старый год» (от 1 января 1915 г.)...

...Я решил сделать песню более доступной, более массовой, более действенной.

Поставленная задача в значительной мере удалась. Моя песня «Наше знамя», отпечатанная нелегально на полковом шапирографе прапорщиком Савиновым (бывший учитель) и распространяемая по этапам стрелочником ст. Барнаул Сергеем Кузьминым, вскоре получила широкое распространение не только среди мобилизованных Колчаком солдат, но и в боевых мамонтовских отрядах и даже в отдаленной от Алтая могучей енисейской партизанской армии Василия Яковенко.

События разворачивались, и вскоре я очутился на Дальнем Востоке.

После освобождения Владивостока от колчаковских властей я выступил на торжественном заседании в Народном доме и в конце своей речи спел «Наше знамя». Многие из присутствующих в зале красноармейцев и рабочих встретили песню как хорошо знакомую...

После этого областная газета и Военный Совет предложили Петру Семеновичу переделать песню для печати или на ее мелодию написать новые слова. Дни эти совпали с большой победой, которую праздновал советский Дальний Восток — интервенты были изгнаны за пределы Амурской области. Гражданской войне наступил конец.

«Под впечатлением всех этих событий, — пишет далее Петр Семенович, — а особенно партизанской победы в Николаевске-на-Амуре, я написал новую песню, заимствуя для нее мелодию, тему, форму и отчасти сам текст из предыдущих стихотворений. Я назвал ее «Партизанский гимн...»

Сейчас песня «По долинам и по взгорьям» стала народной и одной из самых популярных в нашей стране и за ее рубежами.

В связи с тем, что знакомство с песней в первые годы ее жизни происходило не через радио и не через печать, а передавалась песня из уст в уста, имя ее автора для многих осталось неизвестным. Больше того, произошла досадная путаница: в 1929 году поэт Сергей Алымов написал текст к оратории, посвященной Дальневосточной краснознаменной армии и в нее включил песню «По долинам и по взгорьям», изменив в ней лишь несколько слов. С тех пор автора оратории стали считать и автором песни. К тому же, в 1934 году после смерти Алымова она была включена в сборник его стихов. Но тогда же группа видных партизан-дальневосточников обратилась в редакцию газеты «Известия» с письмом, в котором опровергала авторство Сергея Алымова и свидетельствовала, что песня написана Петром Семеновичем Парфеновым. Выступил в защиту своей песни и сам автор. Но дело до конца не было доведено, так как вскоре на П. С. Парфенова обрушилось ложное обвинение, и он стал жертвой клеветы и незаконных репрессий.

Лишь недавно песне возвращено имя ее автора. Московский городской суд после тщательного разбора дела установил за Петром Семеновичем Парфеновым авторство песни «По долинам и по взгорьям». Верховный суд подтвердил это решение.

За свою короткую, но кипучую жизнь Петр Семенович Парфенов успел сделать очень многое. Если к перечисленному выше добавить, что им написано и немало книг о гражданской войне, то стоит только удивляться многогранности таланта этого человека.

Мы обращаемся к людям старшего поколения, знавшим Петра Семеновича Парфенова: подайте о себе знать, помогите своими воспоминаниями восстановить образ человека удивительной судьбы!

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.akunb.ru

А. АШКИНАЗИ,
доцент Алтайского
политехнического института

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД — КРАСИВЫЙ ГОРОД

«Предусмотреть в пятилетнем плане: ...расширение научных работ по изучению земной коры и закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых для лучшего использования природных ресурсов».

Из Директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы.

Совсем нетрудно убедиться в несовершенстве наблюдательности многих из нас. Часто встречаясь с большой студенческой аудиторией, я вот уже много лет продельваю эксперимент, подобный тем, которые часто публикуются в молодежных журналах под рубрикой «Психологические задачи».

Одному из студентов предлагается изобразить циферблат своих часов, разумеется, не глядя на них.

Происходит нечто неожиданное: большинство участников такого эксперимента допускает серьезные погрешности. Только отдельным удается правильно решить задачу.

Попросту говоря, оказывается, что владельцы часов не помнят ни формы стрелок, ни расположения цифр, ни надписей на циферблате.

Но вот недавно я сам оказался в роли «экзаменуемого». Произошло это при следующих обстоятельствах. Командированный в Барнаул московский инженер-строитель попросил познакомить его с городом, куда он попал впервые.

В таких просьбах принято не отказывать.

Можно ли было предположить, что я при этом буду уличен в незнании фасадов домов и площадей города, в котором прожил почти два десятка лет?

А ведь именно так и случилось. Имея представление о Барнауле «в целом», отдельные его «составные части» я заметил только после того, как на них обратил внимание приезжий инженер.

Уметь видеть, оказывается, дело не простое. Так же как, впрочем, и умение показать созданное. Именно об этом и хочется поговорить подробнее.

Как понимать «умелый показ созданного»?

...Сравнительно недавно на фасады зданий навешивали всякие аляповатые завитушки из гипса, бетона. Появились дома с башенными надстройками, колоннадами, портиками и другими излишествами.

Все это бросалось в глаза, но вызывало только досадное недоумение. К чему такая бутафорская помпезность? Что она дает? Ведь каждый конструктивный элемент дома должен быть оправдан своей полезностью, выполнением определенной роли. А завитушки, портики и надстройки различного калибра только удорожали стоимость зданий, усложняли конструкцию и даже лишали части удобств жильцов.

Есть такие «памятники» периода излишеств и в Барнауле. Приглядитесь к одному из них — дому со шпилем на Октябрьской площади.

Много денег стоил этот шпиль, а украсил ли он дом? Нет, конечно. Может быть, он украсил площадь, ансамбль? И этого не скажешь! Торчит он одиноко и раздражает своей ненужностью, оторванностью дома, который он венчает, от всех окружающих зданий.

Излишества в проектировании и строительстве теперь резко осуждены. Партия и правительство выдали советским зодчим ответственный творческий заказ: найти новые, современные приемы наружной отделки зданий, достойные нашей эпохи. Такие приемы, которые бы не только радовали глаз, но и были конструктивно оправданы, недороги, удобны в эксплуатации.

И они — эти приемы — найдены. В одних случаях (наиболее экономичных) вся отделка фасада сводится к разумному цветовому сочетанию плоскостей, в других — к различным вариантам фактуры обрамляющих элементов.

Мне довелось видеть во многих городах дома, отделанные тем или другим способом. Они действительно хороши, красивы, нарядны. Если к тому же хорошо выполнены и другие элементы, создающие внешний облик города, то и весь он становится впечатляющим или, как еще говорят, хорошо смотрится.

Что можно с этих позиций сказать о Барнауле? Тот, кто помнит его деревянным и разбросанным, подумает о ровном, как стрела, многокилометровом проспекте Ленина, о благоустроенных домах, новых школах, клубах, стадионах, магазинах, площадях — и даст нынешнему краевому центру хорошую оценку.

Ну, а приезжий? Он ведь не знает, каким неприглядным был

Барнаул в прошлом. Значит, возможность сравнения, выгодного для современного Барнаула, в этом случае отпадает. И хоть довольно часто попадаются здесь удачные творческие находки архитекторов, — все равно, в целом, город не смотрится, не впечатляет.

И, главным образом, потому, что на фасадах преобладает унылый серый цвет. Сюда бы краски чистых, радостных тонов! Совсем бы другим стал наш город. Но, к сожалению, таких красок здесь нет. Так, во всяком случае, утверждают в управлении «Отделстрой» — самой крупной строительной организации в краевом центре (да и в крае), занятой отделкой зданий и сооружений. А раз нет самых необходимых красочных составов, значит, нечем лечить наш Барнаул, страдающий тяжелым недугом — бесцветностью.

Аналогично думают руководители и многих других строительных организаций.

В таких случаях принято соглашаться с мнением большинства. И все-таки я этого не делаю. Потому что убежден: в нашем крае, при стремлении к этому, можно создать настоящее изобилие красок.

Попробуем в этом разобратся.

Фасады домов рекомендуется окрашивать цветными цементами, синтетическими, известковыми и силикатными красками. Материалы первых двух типов пока еще действительно дефицитны. Выделяют их из ограниченных ресурсов и Алтайскому краю. Но это такое небольшое количество, что им можно пренебречь.

В наших местных условиях можно и нужно рассчитывать на массовое применение известковых и силикатных красок. Хороши ли эти краски? Выгодны ли они? Помогут ли они украсить наши города?

Здание Краевого комитета партии отделано известковой краской, а главный корпус сельскохозяйственного института — силикатной. В обоих случаях качество отделки и внешний вид зданий безукоризненны.

Но, как бы хорошо ни отделаны здания, им время от времени требуется ремонт. Барнаульцам это очень хорошо известно. Почти ежегодно можно наблюдать декоративный ремонт фасадов одних и тех же домов. А ведь для того, чтобы освежить фасад многоквартирного жилого дома, надо смонтировать громоздкие строительные леса, подвесить специальные «люльки». С них маляры скоблят, шпаклюют, наново красят стены.

Попробуйте прикинуть, во что это обходится. Не все знают, что нередко такой ремонт съедает больше денег, чем первичная отделка зданий.

Вот почему удлинение межремонтного срока службы «одежды зданий» сулит несомненный экономический эффект.

Подсчитано, что наименьшая частота ремонтов приходится на фасады, отделанные как раз силикатными красками. Опыт их применения говорит о том, что от ремонта до ремонта они служат 25 лет.

Стоимость покрытия одного квадратного метра стены силикатной

краской равна 12 копейкам. Сравните эту цифру со стоимостью покрытия другими красками: перхлорвиниловой (70 копеек), масляной (65 копеек), известковой (10 копеек). Значит, выгодно применять силикатную краску? Безусловно, выгодно.

Вы, вероятно, обратили внимание на то, что известковая краска даже дешевле силикатной. Правда, и долговечность ее ниже. Но все равно, во многих случаях, только эта краска и может по экономичности конкурировать с силикатной. Все справочники и специалисты утверждают, что известковая краска служит много лет. Так почему же практика применения ее в Барнауле говорит совсем другое?

Попытка объяснить это какой-то мифической местной спецификой не выдерживает критики.

Дело в том, что для приготовления известковых красочных составов здесь зачастую применяют известь и пигменты недопустимо низкого качества.

И думаете, это неизбежно? Ничего подобного! Просто, с чьей-то легкой руки утвердилось странное представление о невозможности получить на месте известь высокого качества. Между тем, для производства извести высшего качества на Алтае есть все необходимое: сырье, печи, специалисты. Нет только предприятий, которым бы специально поручалась выработка такой извести для малярных работ.

Известь производят у нас, главным образом, заводы силикатного кирпича и ячеистых бетонов. Но это продукт технологический, для внутреннего, так сказать, потребления.

Известь повыше сортом вырабатывают сахарные заводы. Но и она предназначена «для себя».

Есть еще в крае Малиновский известковый завод и Локтевский комбинат вяжущих материалов. Вот они-то и должны вырабатывать товарную известь для нужд строительства. Но что это за известь? Активность ее низка, засоренность посторонними примесями превышает все допустимые пределы.

Где же, при этих условиях, приобрести в нашем крае известь высших сортов для малярных работ? Практически такой извести нет. Вот почему отделочники вынуждены искать ее за пределами края. При этом тратятся крупные суммы на командировки и доставку извести. Совсем как в крылатой пословице: «За морем телушка-полушка, да рупь перевоз».

Конечно, при современном уровне развития промышленности нужна централизация некоторых производств. Но это никак не относится к извести — сугубо местному строительному материалу. К тому же известь малотранспортабельна. В пути она портится, теряет активность, нельзя гарантировать доставку ее издалека без потери хотя бы части вяжущих свойств.

Но допустим, что доставлена хорошая известь. А где взять краски?

Краски вообще не вырабатываются в нашем крае. Правда, считают, что этим занимается краевое управление бытового обслуживания.

ния населения. Однако оно занято совсем другим, почти противоположным делом: отгружает ценнейшее красочное сырье далеким потребителям.

Выходит, красок у нас нет, а сырье есть? Да, и очень много!

В ряде случаев месторождения цветных железосодержащих глин выходят прямо на поверхность. Разработка их не составляет особого труда. А ведь это высококачественное сырье для лакокрасочной промышленности. Для превращения алтайских цветных глин в краску только и нужно, что просушить и просеять природный материал.

Выясняя некоторые вопросы, связанные с использованием всего этого несчетного добра, я говорил с ответственными работниками краевой плановой комиссии, управления бытового обслуживания населения и Бийского лакокрасочного завода. Все они — люди ответственные, руководители. Вот содержание разговора с каждым из них.

Вопрос: Как крайплан осуществляет наблюдение за правильным использованием местного минерального сырья для производства красок?

Ответ: Никак.

Вопрос: Знает ли крайплан, что природные краски завозятся в наш край издалека?

Ответ: Знает.

Вопрос: Почему в крае не создано производство красок из местного сырья?

Ответ: Некому этим заниматься.

Комментарии, как говорят, излишни.

А вот краткий пересказ беседы на эту тему в управлении бытового обслуживания:

Вопрос: Почему управление не перерабатывает цветные глины в краски, а ограничивается только отгрузкой сырья далеким потребителям?

Ответ: Мы делаем только то, что не требует особого труда. Производство красок не имеет ничего общего с профилем нашей работы.

Вопрос: Пытались ли вы создать производство красок?

Ответ: Да, пытались. Приобрели проект цеха сухих пигментов, даже привязали его к кирпичному заводу. Но денег на строительство цеха нам не выделили.

Вопрос: Считаете ли вы нужным создать в крае производство красок?

Ответ: Да, этим надо обязательно заняться. Специалисты подсчитали, что строительство цеха сухих пигментов окупится за год.

И наконец содержание разговора по телефону с руководством Бийского лакокрасочного завода.

Вопрос: На каких пигментах работает завод?

Ответ: На привозных. Главным образом, с Кавказа.

Вопрос: Знаете ли вы, что на Алтае есть нужное вам красочное сырье?

Ответ: Да, мы пытались приобрести это сырье. Но стыдно ска-

зять, как им здесь торгуют. Предлагают нам самим рыть глину, сушить ее, просеивать. Нас такие условия не устраивают.

Вопрос: Что представляет собой сырье, приобретенное вами на Кавказе?

Ответ: Это не что иное, как ...алтайские цветные глины, но им, как говорят, придан товарный вид.

Не хочется утомлять читателей пересказом бесед на эту же тему с руководителями и других управлений, трестов, предприятий. Важно, что все сходится на одном: производством красок из местного сырья надо заняться безотлагательно.

Кстати, появилась реальная возможность поручить это дело недавно созданному управлению строительных материалов.

Все сказанное относится к сухим пигментам и известковым красочным составам.

Но проследим еще и за возможностью вырабатывать в крае силикатные краски. Они, как уже отмечалось, очень эффективны. К тому немногому, что о них сказано, следует добавить, что эти краски настойчиво рекомендуются Всесоюзной выставкой достижений народного хозяйства. Силикатные краски прочны, атмосферостойки, допускают промывку водой, долго сохраняют свой цвет. Ими можно окрашивать не только фасады зданий различного назначения. Они хороши для отделки больниц, плавательных бассейнов, кухонь, детских учреждений, магазинов... Они даже не боятся действия слабых кислот и щелочей.

Состоят силикатные краски из двух частей: сухого пигмента и калийного жидкого стекла.

Сухие пигменты практически те же, что и в известковых красках. О них мы уже говорили подробно. А вот со вторым компонентом — жидким стеклом — нужно еще познакомиться.

Жидкое стекло, обладающее клеящими свойствами, получают путем растворения в воде силикатной глыбы. Пока у нас в крае глыбы не вырабатывают, хотя она представляет собой не что иное, как сплав песка и щелочи. Сплавливают эти материалы в стекловаренных печах.

Есть и в нашем крае такая печь. Есть здесь и нужное сырье, и специалисты-стекловары. Есть здесь действующий стекольный завод. Правда, он занят сейчас выработкой только стеклянной посуды. Но, при известных условиях, на этом же заводе можно вырабатывать и силикатную глыбу: натриевую и калиевую.

Вот тогда, когда здесь будет организовано производство калиевой силикатной глыбы, — тогда можно будет полностью отказаться от импорта» в наш край компонентов силикатных красок...

Слова «краска» и «красота» недаром происходят из одного корня. Создание на Алтае изобилия строительных красок поможет нам сделать красивыми наши города.

Для этого придется немало потрудиться. Но игра стоит свеч!

А. УМАНСКИЙ,
археолог

БЕЗМОЛВНЫЕ СТРАЖИ АЛТАЙСКИХ СТЕПЕЙ

Если вам приходилось пересекать алтайские степи на поезде или колесить по ним на автомашине, вы не могли не заметить подымающихся над равниною бугров. Их можно встретить на берегах степной речки и озера, у кромки ленточного бора и на обочине древней соляной дороги, среди чистого поля и в березовом колке, за околицей деревни и в самом центре степного села. Это — курганы, бессменные часовые наших степей.

Они то тянутся ровными цепочками с севера на юг или с востока на запад, то беспорядочными толпами окружают своих более крупных собратьев, достигающих 4—5 м высоты и 60—70 м в поперечнике. В горных степях их насыпи сложены из дикого камня, в предгорьях — из камня и земли, а в степях — только из земли.

Степным курганам явно не повезло: основная масса их распахана, и подчас только опытный глаз может обнаружить их присутствие. Уцелели лишь самые высокие из «степняков»: их насыпи поросли бурьяном и кустарником, изрыты норами зверей; в центре их, как правило, зияют глубокие воронки.

К сожалению, точное количество курганов до сих пор неизвестно, хотя с XVIII в. учетом их занимались ученые и исправники, общества и музеи. Еще в 1880 году по предписанию губернатора Томской губернии (в нее входил и Алтайский край), уездные исправники насчитали в губернии 4300 курганов. Сколько их приходилось на долю степного Алтая, мы не знаем. Во всяком случае, степи Алтая в XVIII—XIX вв. были густо усеяны курганами, что согласно отмечают все ученые-путешественники от Мессершмидта (нач. XVIII в.) до Ядринцева (конец XIX).

Что же скрывали под собой курганные насыпи? Кто и когда их насыпал? Для какой цели?

Частичные ответы на эти вопросы были получены уже в XVIII в., когда Сибирь была охвачена эпидемией кладоискательства. Конечно, кладоискатели (их еще называли «курганщиками», «бугровщиками»,

«гробокопателями») не имели ничего общего с наукой; наоборот, они своими раскопками преследовали исключительно грабительские цели и тем самым нанесли непоправимый вред сибирской археологии. Но в ходе этих раскопок были сделаны подчас верные наблюдения, собран большой фактический материал, сохранившийся, к сожалению, далеко не полностью.

Курганная лихорадка

«Бугровщичество» зародилось в конце XVII в. в верховьях р. Ишима. Затем хищнические раскопки начинаются на Тоболе и Иртыше, вокруг русских городов-острогов. Голландский чиновник Н. К. Витзен, автор труда «О северо-восточной Татарии», писал в 1705 году, что еще в XVII в. «близ Тобольска, Тюмени и Верхотурья и в других местах на ровной степи были вскрыты курганы... и в них были найдены склепы. Находились там остатки покойников со всякого рода утварью...» Здесь же он отмечал, что первые раскопки были случайными, затем их стали вести «умышленно» и, хотя «сначала крестьяне сохраняли это в тайне», вскоре о «бугровании» узнали местные воеводы.

Курганная лихорадка стала быстро распространяться на восток. Правда, в алтайских степях до 10-х годов XVIII в. заниматься курганным промыслом было невозможно. Еще в начале этого столетия земли между Иртышом на западе и притоками Томи на востоке входили в состав буферного Телеутского княжества.

В 10-х гг. XVIII в. началось хозяйственное освоение верхнего Приобья русскими, где по переписи 1719—1722 гг. насчитывалось уже 34 русских населенных пункта.

Именно в это десятилетие была хищнически раскопана значительная часть степных курганов Обь-Иртышского междуречья.

В первую очередь ограблению подверглись курганы, расположенные поблизости от русских крепостей и острогов. Затем «курганщики» стали все дальше углубляться в степи, уходя за 5 и более дней пути от городов.

Если в путевом дневнике Лоренца Ланга за 1716 год указывается, что «всякого рода антиквитеты» (древности — А. У.) находили в древних могилах близ Томска, то англичанин Джон Белль, проезжавший через Сибирь в Китай в 1720 году, уже сообщает, что жители Томска и других мест уходят «на равнину за 9—10 дней пути к могилам».

Обские остроги наводнили ишимцы-бугровщики и скупщики могильного золота. Впрочем, курганный промысел на некоторое время стал регулярным источником средств существования более значительных групп русского населения. 150 жителей Чаусской слободы занимались «хлебопашеством и торговлей мехами... Но, главным образом, они зарабатывают много денег раскопками в степях», — писал в 1721 году ученый-путешественник Д. Г. Мессершмидт. В ходе раскопочных работ «бугровщики» выработали примитивную промысловую организацию, которая была призвана обеспечить максимальный эффект дела и личную безопасность его участников. Свидетельства

Д. Г. Мессершмидта создают впечатление о широком размахе грабительских работ. «С последним санным путем, — пишет Мессершмидт, — они (жители Верхней Оби, которых автор называет ишимцами — А. У.) отправляются на 20—30 дней езды в степи; собираются со всех окрестных деревень в числе 200—300 человек и разбиваются на отряды по местностям, где рассчитывают найти что-нибудь. Затем эти отряды расходятся в разные стороны, но лишь настолько, чтобы всегда иметь между собою сообщение и, в случае прихода калмыков или казаков (казахов — А. У.), быть в состоянии защищаться; им нередко приходится с ними драться, а иным и платиться жизнью».

Позднее в хищнические раскопки включились и представители малых народностей — казахов, алтайцев, хакасов.

К организации грабительских ватаг приложили свою руку и сибирские воюводы. Пока правительство ничего не знало о сокровищах курганов, «начальники городов Тары, Томска, Красноярска и др. мест отправляли вольные отряды из местных жителей для разведки этих могил и заключали с ними (отрядами) такое условие, что они должны были отдавать определенную, либо десятую часть найденного ими золота, серебра, меди, камней и пр. Найдя такие предметы, отряды эти разделяли добычу между собою...»¹

Иногда добыча составляла от 5 до 7 фунтов золотых и серебряных вещей (принадлежности сбруи, лихие украшения, посуда и т. п.). Но подчас она была весьма значительной. Управляющий казенными заводами Урала и Сибири В. де-Геннин в своем «Описании уральских и сибирских заводов» рассказывает о находке бугровщиками кургана с богатым захоронением: «В ... могиле лежало мертвое тело на золотой выбитой тонкой доске, а поверху его платья наложено было золотыми тонкими листами, выбитыми толстотою против бумаги, всего золота с пуд. И оную могилу до сего времени называют пудовик».²

Рассказы о богатых находках подогревали ажиотаж гробкопателей. Хищнические раскопки приняли массовый характер. Одним из результатов этого явилось появление «бугровых» вещей на рынке. Так, в перечне товаров, обретавшихся в 1-й половине XVIII в. на знаменитой Ирбитской ярмарке, значится и «могильное золото». Избыток золота на рынке привел даже к падению цены на золотые изделия. В конце 1-й четверти XVIII в. золотник золота (4,266 г) стоил в Красноярске от 90 до 50 копеек. Золото свободно продавалось также в Томске, Тобольске, Таре и других городах Сибири.

¹ Страленберг. Северная и восточная часть Европы и Азии. Стокгольм, 1730 (цит. по В. В. Радлову, Сибирские древности, 1888, стр. 33—34).

² Проф. Шуровский, ссылаясь на «Сибирский Вестник» за 1818 год, рассказывает о кургане по прозвищу «Золотарь», что находится на правом берегу Алея, в 60 верстах на юго-восток от бывшего Локтевского завода. В нем было найдено более 60 фунтов золота в сбруйных уборах и в других предметах. «Золотарь», якобы, дал имя соседним с ним речке Золотушке, Золотушинским горам и Золотушинскому руднику. Возможно, речь идет все о том же «пудовике».

Основная масса могильных предметов попала в руки купцов-скупщиков и «начальных людей». Воевода Красноярска Д. Б. Зубов, например, имел очищенного могильного золота на несколько тысяч рублей!

Находчики или скупщики обычно переплавляли древние золотые и серебряные предметы по причине неудобства их «для домашнего употребления» (Миллер), «не находя в них ничего ценного». Например, тобольский воевода Салтыков из серебра, найденного в могилах «велел сделать себе саблю (эфес — А. У.) на память». Так были погублены тысячи памятников древнего изобразительного и ювелирного искусства, погублены из корыстолюбия и невежества.

Сибирские антиквитеты и Петр I Правительство Петра I пыталось вести борьбу с хищениями древностей и уничтожением их. В 1718 г. были изданы два указа, поставившие памятники древности под охрану государства. Это были первые в Европе указы об охране памятников культуры и истории. Мысли, выраженные в них, затем не раз повторяли указы и распоряжения Сената, резолюции и записки Петра I.

Было установлено, что все находки подлежат обязательной сдаче в Московскую и Петербургскую аптеки, а затем в учрежденную в 1714 г. кунсткамеру. Сдаче подлежали найденные в земле или в воде «старые вещи»: «старые надписи на камнях, железе или меди или какое старое, необыкновенное ружье (оружие — А. У.), посуду и прочее», «все, что зело старо и необыкновенно».

В указе были установлены размеры вознаграждения («дачи») за находки: «За человеческие кости за все, ежели чрезвычайного величества, тысячу рублей. За деньги и прочие вещи, кои с подписью, вдвое — чего они стоят. За камни с подписью по рассуждению». Петр не раз подчеркивал мысль о необходимости фиксации находок: «где кладутца такие вещи, всему делать чертежи, как что найдут», он предлагал сделать вырезку одного из захоронений («один гроб с костями привести не трогая»). В 1721 г. Сенат дал губернатору Сибири князю Черкасскому указ: «куриозные вещи» покупать «настоящею ценою и, не переплавлявая, присылать в Берг — и Мануфактурколлегию».

По словам дипломата Унковского, при Петре был издан строжайший указ «гробкопателей смертью казнить, ежели пойманы будут».¹

Петр I с целью сохранения памятников древности организовал специальную экспедицию в Сибирь. Пленному шведскому офицеру Д. Г. Мессершмидту было предписано, в частности, «приискывать могильных всяких древних вещей шейтаны медные и железные и литые и образцы человеческия и звериные и калмыцкия глухия зеркала подписанием», платя за могильные вещи «плату немалую». Семь лет длилась

¹ Это заявление было сделано в споре с тайшой Даржи, который обвинял русских в раскопках курганов. Слова Унковского, скорее всего, дипломатический финт, имевший целью снять ответственность с русских людей за раскопки курганов на территории Джунгарии.

экспедиция Мессершмидта. Он объездил многие городки, остроги и слободки Сибири, встречался с бугровщиками, приобретал по сходной цене отдельные находки, вел учет памятников древности. Близ Абаканска он даже произвел, правда, неудачные раскопки с вполне научной целью («хотел узнать каким образом эти язычники в старину устраивали свои могилы»). Но главной задачей его являлся сбор коллекций. Местное начальство во исполнение царской воли обычно рассылало «прочетные указы» и объявления о сдаче древних предметов царскому посланцу. Томский комендант В. Е. Козлов даже направил в мае 1721 года для покупки могильных вещей в Чаусский острог и «в присутствующие к тому острогу в деревни и в кузнецкий присуд» пленных шведов Ягана Цеймерна и Питера. Но чаще всего канцелярии отделялись отписками, сообщая Мессершмидту, что «антиквитетов или курьезных вещей никаких не обретаецца». Дело было не только в том, что эпидемия кладонскательства, в основном, прошла и находки прошлых лет были приобретены скупщиками, но, главным образом, в том, что местные начальники сами утаивали «антиквитеты», скупая их за бесценок у курганщиков.

Узнав о сокровищах Зубова, Мессершмидт пришел к выводу, что антиквитетов «нельзя отыскать, потому что оне либо законно (по особому указу) сдаются бугровщиками в кассы и приказы, либо незаконно раздариваются воеводам и приказным за угощения пивом и водкой.., либо иногда продаются другим богатым русским. Сами же бугровщики или могильщики всегда бедны и себе таких древностей не оставляют».

Правда, Мессершмидту все-таки удалось собрать небольшую коллекцию редкостей.¹ Но в целом, попытка собрать антиквитеты чисто официальным путем потерпела, по сути дела, крах.

Наконец, Петр I стремился привлечь ученых к определению назначения, хронологической и этнической принадлежности сибирских находок. Он переправлял присылаемые из Сибири редкости антверпенскому бургомистру Витзену, с которым познакомился еще в России и у которого некоторое время жил в дни пребывания Великого посольства в Голландии.² При пересылках многие предметы пропали. Так, посылка 1704 г. оказалась в руках пиратов-дюнкирхенцев, захвативших судно, шедшее в Голландию из России. Однажды «верный» человек, с которым «бугровые вещи» были отправлены Витзену, ...сам продал их. В письмах, помеченных 1703—1716 гг., Витзен часто сообщает своим корреспондентам о получении из Сибири курганных ве-

¹ Коллекция Мессершмидта даже превзошла ожидания Миллера и др. академиков, но она могла быть полнее, если бы он и его эмиссары не упустили из соображений экономии царских средств или по недооценке ряд интересных находок. Так, Мессершмидт отказался купить сбруйные украшения, считая их трудно определяемыми, Питер не сошелся в цене за великолепное бронзовое ожерелье с подвесными фигурками львов, покрытое золотой фольгой. По этой же причине Цеймерн и Питер не купили в Чаусском остроге предмет со сценой борьбы льва и козла и т. п.

² Именно Витзен сделал попытку объяснить лично или с помощью других антикаров происхождение и назначение различных сибирских древностей.

щей. Вскоре после открытия кунсткамеры отправка находок Витзену прекратилась.

Таким образом, Петр Великий принял ряд энергичных мер по спасению гибнувших памятников древности.

Однако ни указы, ни строгие предписания не прекратили грабительских раскопок, курганщики продолжали свое черное дело. В результате уже к началу 20-х гг. XVIII века некопанных курганов в алтайских степях почти не осталось. В 1722 г. капитан от артиллерии И. Унковский, едучи вверх по Иртышу с особой дипломатической миссией к джунгарскому контайше Цеван-Рабтану, видел множество раскопанных курганов. «И тако оные, яко погреба раскрытые по всей степи видны», — писал он в своем дневнике. Подобная же картина наблюдалась и на берегах Оби, где, по словам поручика Рудольфи, еще несколько лет назад встречались могилы, «полные золота и серебра». а сейчас нужно было «обладать особенным счастьем, чтобы случайно напасть еще на что-нибудь, да притом весьма неважное».

Через 12 лет после Унковского на Иртыше побывал Миллер, возглавлявший академическую экспедицию, направленную в Сибирь с целью комплексного изучения ее природных ресурсов, истории, этнографии и т. п. На восточном берегу Иртыша до самого Семипалатинска он уже не встретил нераскопанных курганов. Миллер еще застал многих людей в Сибири, «кормившихся прежде такой работой (раскопками курганов — А. У.); но в мое время, — пишет он далее, — никто больше на сей промысел не ходил, потому что все могилы, в коих сокровища найти надежду имели, были уже разрыты».

Миллеру также удалось собрать небольшую коллекцию оригинальных древностей в Семипалатной, на Колывано-Воскресенских заводах, но, в основном, это были бронзовые и медные предметы, к которым находчики «отнеслись не столь жестоко», как к золотым.

Миллер и его спутники раскопали несколько курганов близ Усть-Каменогорска, а также между Ямышевой и Семипалатинской крепостями, «чтобы усмотреть внутреннее их (могил — А. У.) состояние и положение костей». Кроме скелетов и бесформенных кусочков ржавого железа, они ничего не нашли. Комендант Усть-Каменогорской крепости, предрекавший неудачу раскопок, оказался прав.

Впрочем, грабительские раскопки, хотя и в меньших масштабах, продолжались в течение всего XVIII в. Еще в начале 60-х годов XVII в. бугровщики перебираются на левый берег Иртыша, где кочевали казахи, вторгаются в пределы бывших «зюнгорских» владений в Горном Алтае. Известны случаи, когда начальство императорских заводов на Алтае посылало приписных крестьян и бергалов под охраной солдат на курганный промысел в горы. Так, Безр направил в Горный Алтай за добычей команду из 120 человек (1745 г.). Нередко кочевники убивали некоторых похитителей за осквернение могил их «предков». Это вызвало появление указа Екатерины II в 1764 г., объявившего «дабы никто под жестоким наказанием в степь для бугрования не ездил».

поскольку при этом «браны были в полон люди и лошади, из коих инья и до смерти при тех буграх убиваны».

Но тем не менее и после этого указа, вплоть до конца XIX в., по данным Археологической комиссии, хищнические раскопки курганов кое-где продолжались.

Результаты «деятельности» бугровщиков хорошо видны и в наши дни. Сейчас в степях Алтая едва ли можно сыскать хотя бы один более или менее крупный по размерам курган, в насыпи которого не зияли бы одна-две глубоких воронки.

Как и что узнали бугровщики о курганах

Приемы, с помощью которых курганщики вели раскопки, были крайне примитивны, они не менялись на протяжении XVIII и XIX вв. С целью экономии сил и быстрее достижения нужного результата, бугровщики разрезали траншеей насыпь кургана («вели мину»), находили могильную яму и затем расширяли раскоп в пределах этой ямы. Но чаще по центру насыпи они рыли шурф — квадратную, сужавшуюся уступами книзу яму. При этом уступы служили для «перевала» земли.

В ходе раскопок не могло быть и речи об осторожности и бережном отношении к инвентарю и внутримогильному сооружению. Велись такие раскопки «крайне грубо, небрежно. Кайла сокрушает вдребезги все, что встретит на своем пути. Всякая находка, прежде всего, разламывается, а то царапается ножом или трется о камень, чтобы видеть не золото ли? Костяные, каменные и железные вещи просто разбиваются и бросаются прочь».¹ Золотые предметы при дележе рубили на части. Нередко ценные вещи по недосмотру выбрасывались в отвал. Стралленберг, например, рассказывает о находке в отвале раскопанной могилы кусочка золота весом в пол-лота. Не раз с подобными фактами встречались и современные археологи, имея дело с копаными курганами.

При всем этом бугровщики сделали ряд интересных археологических наблюдений. Они прекрасно разбирались, в частности, в том, в каких курганах можно ожидать золотые находки, а в каких их не может быть. Усть-Каменогорский комендант уверял Миллера, что в насыпях курганов на сей предмет есть заметные лишь бугровщикам знаки. Курганщики имели представление о характере конструкции внутримогильного сооружения (каменные ящики-цисты, деревянные срубы и т. п.). Они даже «создали» свою классификацию древних могил, отличая более поздние («калмыцкие») от ранних («чудских»), так называемые «сланцы» от курганов. По сути эта классификация легла в основу той, которую дал сибирским курганам Миллер.

По рассказам гробкопателей и раскопкам Мессершмидта, Миллера, Палласа можно составить представление о ряде могильных сооружений, строения насыпей и инвентаре раскопанных курганов.

¹ Ново-Кузнецкий музей. Дело 45/1894.

Так, под насыпью «пудовика», судя по рисунку де-Геннина, из камня были выложены цисты: одна для коней и три для людей.

Цисты были устроены прямо на древнем горизонте. Взнузданные и оседланные лошади положены перпендикулярно одна другой. Погребенные люди ориентированы головами в одну сторону. Скелеты их лежали на желтых листах (золотые подстилки — А. У.), на спине, закутанные в красные покрывала. Один из скелетов парного захоронения был покрыт одеянием, сплошь расшитым золотой фольгой. Де-Геннин отмечал, что ткани еще не совсем истлели, а иные железные стремяна и кольца конского убора бугровщики «без переделки употребляют». Из инвентаря «пудовика» де-Геннин упоминает также украшения из благородных металлов и меди, «которые они на шее и на руках в платках и серьгах носили», а также оружие (в крайней справа цисте рядом с покойником нарисован колчан со стрелами).

По де-Геннину «пудовик» был сооружен в такой последовательности: сначала сделаны цисты («камень привозили и мертвых обкладывали»), затем — насыпь над ними («на тот камень сыпали землю и подобие как осыпаются угольные кучи»). При этом камень иногда привозили «из других мест верст по сту и далее».

Вообще-то, конструктивные особенности курганов диктовались не только требованиями обряда, представлениями о загробной жизни, но и наличием соответствующего строительного материала. Тот же Миллер, копавший курганы на Иртыше, отмечал, что обилие голышей в этих местах, а также скального камня, сказалось на том, что здесь над могилами сделаны либо каменные вымостки, либо каменные кольца, либо каменные насыпи, окруженные стоящими камнями, среди которых есть глыбы выше человеческого роста. Часто могилы до самого покойника набиты голышами. Скелеты людей здесь находили на глубине от 1 до 3 локтей. Они имели восточную ориентировку. От одежды иногда сохранялись куски шелковых и бумажных тканей.

«По таким же остаткам, — продолжает Миллер, — видно, что народ был очень богат, потому что иногда состоят из расплющенного на тонкие пластинки чистейшего золота, которого курганщики нередко находили в одном кургане до 1 фунта весом. Другие драгоценности, добытые из этих могил, заключаются в серьгах, в запястьях и кольцах золотых, в искусно отлитых из золота и серебра изображениях животных, и особенно в разных сделанных из серебра, наполовину смешанного с медью, конских украшениях, которые не очень дорого продаются в здешних местах. Драгоценные камни встречались редко. Мечи же, стрелы и другие изделия из меди и железа, хотя и были находимы часто, но, к великому ущербу исторического знания, не обращали на себя внимания находчиков... К этому ассортименту находок Стралленберг добавляет еще золотые шахматы (?) в богатых могилах, а «в могилах бедных людей... наконецники из меди и железа, стремяна большие и маленькие, полированные металлические пластинки или зеркала с письменными знаками, маленькие и большие глиняные ур-

ны, из которых некоторые вышиною в локоть и больше и, подобно нашим укусным кувшинам, либо с ручками, либо без ручек».

Сведения Мессершмидта, Стралленберга, де-Геннина, Миллера и других ученых-путешественников только в самой незначительной степени восполняют тот гигантский ущерб, который нанесли раскопки бугровщиков. Сколько бесценных сокровищ погублено ими! Какие замечательные памятники древнего ювелирного искусства утрачены навсегда и бесследно! Каких удивительных источников лишилась наука!

Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно ближе познакомиться с Сибирской коллекцией Петра I, хранящейся ныне в Государственном Эрмитаже.

Как возникла сибирская коллекция Петра I

Выше говорилось, что до 1715 г. находки из сибирских «бугров» Петр I отправлял Витзену. Полученные Витзенем предметы были зарисованы и опубликованы в его книге «О северо-восточной Тарии». Увы, до наших дней сохранились... лишь эти рисунки. Коллекция Витзена после его смерти была продана с торгов. А, судя



Золотые пластинки-застежки с изображением сцены нападения крылатого и рогатого львиного грифона на лошадь. Сибирская коллекция Петра I.

по рисункам, в ней были массивные золотые гривны, браслеты, серьги, зеркала, кувшины, подвески, бляхи, пряжки, идолы, чаши, монеты и др. Известный русский археолог Я. И. Смирнов, изучив рисунки с предметов из коллекции Витзена, пришел к выводу, что она очень пестра по своему составу: наряду с вещами I-го тыс. до н. э. в ней есть и более поздние предметы, например, датируемые золотоордынским временем.¹

¹ Когда Археологическая комиссия в конце прошлого века запросила королевский музей Голландии, не поступило ли собрание Витзена в какой-либо местный музей, она получила ответ, из которого явствует, что следы коллекции давно уже канули в Лету. Это произошло в культурнейшей стране Европы, сын которой — Витзен — постоянно упрекал русских в том, что они не ценят древностей!

Что касается России, то, несмотря на все невежество бугровщиков, а также корыстолюбие власть имущих, все-таки удалось до наших дней сохранить часть «бугровых вещей» Сибири. Случилось это так. Известный урало-алтайский заводчик Акинфий Ижмитович Демидов на Урале и в Сибири скупил у курганщиков десятки интересных находок из золота и серебра. В один из его приездов в Петербург (в 1715 г.), как рассказывает биограф Петра I, «родился Монарху сын Царевич Петр Петрович, и когда знатные особы при поздравлении Монархини по древнему обычаю подносили приличные дары, то он, пользуясь случаем, поднес Ея же Величеству богатыя золотыя бугровыя сибирские вещи и сто тысяч рублей денег».

В 1716 г. сибирский генерал-губернатор М. П. Гагарин, которому Петр I еще два года назад дал устный наказ о сборе антиквитетов, прислал в двух посылках 132 золотых предмета из курганов.

Через пять лет преемник Гагарина князь А. М. Черкасский с тарским служивым Ф. Мясниковым прислал еще сколько-то предметов.

После смерти Петра I, в 1726 г., Екатерина I распорядилась подношение Демидова, присылки Гагарина и Черкасского передать в кунсткамеру. Всего в этой коллекции, получившей название Сибирской коллекции Петра I, при этом оказалось 250 предметов, общим весом в 74 фунта золота. Позднее в это собрание были включены несколько находок, собранных Миллером (коллекция Мессершмидта погибла во время пожара 1747 г.).

В первой половине XIX в. бугровые вещи на Алтае коллекционировали видный изобретатель, начальник Колывано-Воскресенских заводов, Томский гражданский губернатор П. К. Фролов и чиновник Горного правления в Барнауле (затем Горного Совета в Петербурге) Г. И. Спасский. Часть этих собраний поступила в Императорскую публичную библиотеку, откуда попала в Эрмитаж.

Такова коротко история Сибирской коллекции, этой жемчужины Эрмитажа. В состав коллекции входят пряжки, застёжки плащей, украшения одежды, шейные гривны и браслеты, перстни, серьги и др. ювелирные изделия. В данной статье я не ставил своей целью (да это просто невозможно) подробно описывать различные предметы коллекции. Но здесь нельзя не отметить замечательные, обычно украшенные вставками бирюзы, парные застёжки верхней одежды, на каждой из которых изображена сложная сцена борьбы животных из-за добычи или нападение хищников на травоядных. Они поражают реалистической трактовкой зверей и удивительной экспрессией. Вот рогатый и крылатый львиный грифон, хищно изогнув сильное тело, впился зубами и когтями в гриву бычьей в предсмертных судорогах лошади. Вот кабан, удирающий от конного охотника в лесу. Тигр, напавший на верблюда, и тигр, вступивший в смертельную схватку с мифическим волком. Тигр, волк и парящий гриф, дерущиеся из-за добычи. Схватка между яком и напавшими на него барсом и тигром. Две ажурные пластины иллюстрируют целую сцену из героического эпоса: под деревом жизни сидят мужчина и женщина, в ногах у кото-

рых лежит умерший богатырь, а рядом стоят оседланные и взнузданные богатырские кони, на дереве висит музыкальный инструмент. Это сцена оживления павшего в битве богатыря его другом-побратимом и верной подругой мертвого героя.

А многовитковые браслеты и гривны с концами, оформленными в виде голов или фигурок животных — тигров, львов, грифонов! А рельефные бляхи и подвески конской сбруи, каждая из которых — художественное произведение редкой по силе выразительности! А масса сережек ажурной работы, разных по форме перстней! И многое, многое, что рвется в строку, но о чем я не могу писать из-за недостатка места.¹

Изучение Сибирской коллекции еще раз утверждает в мысли о том, что курганщики принесли ничем не восполнимые потери археологии: ведь Сибирская коллекция — только очень незначительная часть тех поистине бесценных сокровищ, которые были извлечены ими из недр курганов! Самая богатая фантазия не в состоянии представить этих сокровищ целиком.

Конечно, и в современном составе коллекция Петра I многое дает для изучения древней истории Сибири, в том числе Алтая. Но, к сожалению, точное место нахождения предметов коллекции неизвестно. Ученые до сих пор ломают головы и строят гипотезы на сей счет. Витзен определял его под 60 град. северной широты, де-Геннин — десятью градусами южнее. Миллер — полагал, что коллекция составила из бугровых вещей, найденных на обширной территории от Волги до Оби. Известный советский археолог С. И. Руденко родиной коллекции Петра I считает «современный северный Казахстан и Алтайский край (б. Барнаульский округ), преимущественно территорию между Иртышом и Обью», а другой видный ученый М. П. Грязнов ограничивает ее «Алейской степью у подножья Алтайских гор». Таким образом, мнения ученых по этому вопросу весьма существенно разнятся. Но в любом случае, как вы можете заметить, курганы степного Алтая имеют к коллекции самое непосредственное отношение.

Хотя в состав коллекции входят предметы, созданные в разные исторические эпохи, основная часть их принадлежит одному времени (I тыс. до н. э.).

Для чего насыпаны «бугры». Легенды и были.

Первые русские люди в Сибири не сразу разобрались в том, что курганы — погребальные сооружения язычников. Слишком необычны были для христиан и насыпи курганов и сам инвентарь могил: ведь христиане хоронят единоверцев в грунтовых ямах, без каких-либо, тем более дорогостоящих предметов, без орудий труда, а также с умершими не кладут убитых животных, не ставят в сосудах пищи и питья. Из инвентаря в могиле христианина можно найти лишь нательный крест — он должен служить на «страшном суде» своего рода опознавательным знаком.

¹ Гальванокпии ряда предметов из Сибирской коллекции можно видеть в экспозиции Алтайского краевого музея.

Вот почему русские, находя различную утварь в курганах, считали их или кладами или жилищами аборигенов Сибири. Оба этих толкования нашли свое отражение в различных легендах. Известный путешественник и сибировед Н. М. Ядринцев записал несколько таких легенд. Одну из них он услышал в Масляхе (Каменский район). За околицей этой деревни, по дороге в Новосибирск, хорошо видны насыпи около сорока небольших курганов. Напротив их, в пойме Оби, над заливными лугами, почти на 20 м поднимается не то елбан, не то курган. Один склон его крутой, другой — пологий, поверхность перерыта глубокими ямами. По рассказам жителей, когда-то к елбану, который они считают курганом, была устроена слань (гать). По этой-то гати, полагает Н. М. Ядринцев, возили землю с берега для насыпи «кургана». Диаметр «кургана» около 280 шагов, длина пологого склона — 100 шагов.

Много раз пробовали рыть «курган» и местные жители и заезжие авантюристы, а в 20-х гг. нашего века раскопки на нем вела какая-то археологическая экспедиция. О «кургане» в округе ходят легенды, некоторые из них записал еще Н. М. Ядринцев.

В одной, например, говорится, что проезжие мужики откопали в кургане золотую телегу..., но она «ушла в землю». В другой рассказывается, как масляхинскому рыбаку во сне явился старец-ведун и приказал копать курган, что в пойме реки, «где он за тремя чугунными дверями должен был увидеть красавицу и нагрести золота и серебра, сколько угодно. Когда рыбак начал копать курган, то, якобы, преодолев все преграды в виде чугунных дверей добрался до подземелья, где сидела красавица, окруженная сокровищами. Она приказала храбrecу отыскать трех Иванов Ивановичей, детей одного отца и принести голову одного из них. Только исполнив это условие, он мог завладеть сокровищами». Едва ли суждено было рыбаку разбогатеть: попробуйте, найдите в одной семье четырех Иванов!

На Иртыше Ядринцев записал еще одну легенду о несметных сокровищах курганов. Один беглец, наевшийся с голоду мяса белой змеи, обрел чудесный дар понимать язык животных и растений. И вот ему удалось подслушать как ворон ворону рассказал предание о кургане, в котором, якобы, богатый клад сторожит юная дочь хана. Она сидит в подземной комнате на золотом стуле, распустив волосы, с золотым гребнем в руках. Царевна так прелестна, что любой искатель сокровищ, увидев ее, не может покинуть подземелье, не поцеловав чародейки. Но стоит ему дотронуться до гребня и перстня, как грохочет гром, разверзается земля, подземелье с его сокровищами и девой исчезает, а кладоискатель с заступом в руках оказывается на кургане.

В том и в другом случаях кладами овладеть не удастся, так как они заколдованы, закляты, а сами курганы выступают как хранилища кладов.

В любом районе края вам могут рассказать еще одну, пожалуй, самую распространенную легенду, в которой курганы выступают в ка-

честве жилищ, и делается попытка объяснить назначение и этническую принадлежность их. Это легенда о белой березе и о «чудаках». В старину в Сибири жили черные люди, «чудаки». Чернь (тайга) окружала их становища. И вот неведомым образом появилась в черни белоствольная береза. Долго думали мудрые старики «чуди» — к чему бы это? Наконец, решили, что белая береза — предвестник появления белых людей, которые придут вслед за белым лесом. И тогда, якобы, испугавшись грядущих пришельцев, «чудаки» выкопали землянки, загнали в них скот, заперлись изнутри. Когда же пришли чужеземцы, то «чудаки» подрубили столбы, поддерживавшие кровлю, — так их и завалило землей вместе со скотом, отчего, дескать, и образовались курганы.

Правда, бугровщики довольно быстро убедились в том, что «бугры» являются не кладами, не жилищами, а погребениями древних людей. А первые ученые, изучавшие курганы, привлекая этнографический материал, правильно объяснили присутствие инвентаря в могилах древних: этот обычай вытекал из их веры в бессмертие души.

Ученые XVIII в. уже улавливали связь древностей с историей народов. Татищев, например, писал: «В древних могилах находятся старинные вещи и ко изъяснению истории весьма полезные». Именно поэтому ученые XVIII в. от Мессершмидта до Палласа тщательно описывают различные древности, копируют надписи, ведут зарисовки памятников, в том числе и курганов, раскопки их, чтобы «иметь некоторое понятие о внутреннем их состоянии» (Паллас), коллекционируют антиквитеты и т. п. А Миллер составляет инструкцию Фишеру, состоящую из 100 пунктов, предписывая делать замеры могил, указывать ориентировку их, местоположение предметов, не игнорируя при этом ни костей животных, ни глиняных горшков.

Теперь мы вплотную подошли к вопросу об этнической и хронологической принадлежности курганов.

Простые русские люди считают, что курганы **Кто же насыпал курганы? Чудь?** в большинстве своем оставлены легендарной чудью¹. «Чуди» приписывают большинство древностей Урала и Сибири — курганы, копи, «кукуи» (городища) и т. п. На Урале, например известно городище под названием «Чудаки»; в 40 км от Барнаула, у с. Касмала есть так называемая «Чудацкая гора». Если вам придется встретить подобное название на Алтае — можете быть уверены, что в данном пункте есть памятники глубокой древности.

Мнение о «чудской» принадлежности могил в какой-то степени разделяли и некоторые ученые. Н. М. Ядринцев, заключал свой рассказ о Масляхинском «кургане» упованием на грядущие раскопки.

¹ Любопытно, что «чудью», «чудаками» русские издавна называли угро-финские племена северо-запада Руси — вспомните племена воль, емь и др. и среди них «чудь», давшая имя озеру, на льду которого в 1242 г. Александр Невский разбил псов-рыцарей.

которые прояснят «лежит ли здесь Клеопатра таинственной чуди или повелитель значительной орды, удостоившийся особенной почести».

Широко было распространено мнение о том, что курганы Сибири насыпаны татаро-монголами. Витзен допускал мысль о погребении в них «монгольских властелинов».

Миллер думал, что курганы Сибири, в которых находили бронзовые орудия труда, оставлены уйгурами. От последних, якобы, владыка монголов Чингис-хан воспринял письменность. А от монголов в свою очередь происходят «все старинные могилы как в России, так в Сибири»... Миллер попытался даже объяснить, почему могилы на Иртыше и Оби богаты, а в Прибайкалье, где сначала жили «мунгалы», бедны. Монголы, де, завоевали и ограбили Китай, после чего ушли из мест прежнего обитания на Иртыш и Обь, откуда в первой половине XIII в. двинулись на Русь. Так что могилы Восточной и Западной Сибири принадлежат, по его мнению, одному народу, но относятся к разным периодам его истории.

В XVIII в. бытовало также мнение о том, что все курганы принадлежат предкам западных монголов-калмыков. По невежеству или в соответствии с политическими интересами кочевников и стоявшей за ним аристократии эта версия о происхождении курганов была господствующей в Джунгарии.

Уже известный нам Бельз, ссылаясь на предания барабинских татар, связывал происхождение курганов, что отстоят от Томска на 8—10 дней езды, с конкретными событиями азиатской истории — столкновениями Тимура с калмыками, которые, якобы, имели место.

Наконец, еще в петровское время была высказана мысль... о славянской принадлежности курганов Сибири. В этом смысле любопытен спор И. Унковского и тайши Даржи. Даржи, заявив, что курганы раскапывают русские люди в поисках золотых стремян и чашек, утверждал при этом, что курганы сооружены предками калмыков. На это Унковский весьма резонно заметил, что «по их (калмыков — А. У.) вере умерших людей жгут и в воду бросают, собакам и птицам на корм отдают, а с золотом и ни с каким богатством не погребают». В свою очередь, капитан от артиллерии выдвинул абсурдное предположение, что, вероятно, когда-то в междуречье Оби и Иртыша жили русские люди, у коих до принятия христианства принято было хоронить сородичей «со всем военным уборством» и насыпать на могилы «великие бугры земли».

Забегая вперед, скажем, что ни русские, ни калмыки не причастны к алтайским курганам: и те и другие появились в Сибири лишь в конце XVI — начале XVII вв.

Во всяком случае в XVIII в. не удалось разрешить вопросов о том, кто и когда насыпал степные курганы.

Для ответа на эти вопросы было необходимо организовать научное исследование курганов, но до 60-х гг. прошлого столетия никто из русских ученых не предпринимал раскопок в алтайских степях: всех пугали зиявшие в насыпях воронки. Первые более или менее

научные раскопки в Горном Алтае провел в 1826 г. профессор Дерптского университета К. Ф. Ледебур. В Чарышской степи, близ Усть-Кана, он раскопал 4 кургана (3 из которых были ограблены). Ледебур подробно описал ход раскопок, положение инвентаря, опубликовал записки из дневника и рисунки предметов, но ни датировать курганы, ни определить этническую принадлежность их оказался не в состоянии. К. Ф. Ледебур лишь зафиксировал мнение его рабочих, которые самое глубокое захоронение определили как «чудское», а остальные — как калмыцкие.

В 1861 г. французский ученый Менье по совету известного краеведа С. И. Гуляева раскопал несколько курганов недалеко от Барнаула, по дороге в с. Гоньбу. В курганах были обнаружены захоронения людей с лошадьми. Умершие были снабжены различными железными предметами, костяными наконечниками стрел и др. инвентарем. После смерти Менье (умер и погребен в Барнауле в 1862 году) этот материал был опубликован во Франции.

В раскопках Менье принял участие учитель немецкого и латинского языков Барнаульского горного училища, будущий знаменитый археолог и тюрколог академик В. В. Радлов. Уже в 1862 году Радлов предпринял самостоятельные раскопки двух курганов у с. Боровой Форпост (Волчихинский район). Один из этих курганов был ограблен, а в другом исследователь обнаружил скелеты двух людей и коня, и с ними остатки колчана, копья, мечей, ножа, стремян и удила. Радлов высказал предположение, что курганы относятся по времени к XIV в. н. э.

Затем Радлов перенес свою исследовательскую деятельность в Горный Алтай, где в 1865 г. раскопал два больших кургана — один у с. Катанда, другой у с. Берель (долина Коксы). Радлов доказал, что и в Кулунде и в горах Алтая раскопки курганов не лишены определенных перспектив, но раскопки горных курганов имеют больше шансов на успех, ибо они дают очень эффектный материал. К тому же появилась надежда, что в горах удастся обнаружить курганы, в которых, благодаря небольшим очагам вечной мерзлоты, сохранятся различные предметы, исполненные из материалов органического происхождения (это подтвердили позднее раскопки Пазырыкских курганов).

Со времени Радлова и до самой Октябрьской революции никто не занимался изучением степных курганов Алтая. Больше того, вообще по всей Томской губернии еще 20 лет спустя после раскопок В. В. Радлова насчитывалось лишь 15 курганов, исследованных учеными (это из 4300!).

В 1911 г. к ним добавилось еще 5 курганов, которые раскопал А. В. Адрианов в Майэмирской степи юго-западного Алтая (Восточно-Казахстанская область). Так и остался нерешенным вопрос о времени сооружения степных курганов и о племенах, оставивших их.

Правда, Радлов на основе своих исследований 1862—1905 гг. датировал курганы Западной Сибири эпохой меди и бронзы, а также разными этапами железного века. При этом курганы железного века

он связывал с тюрками, за исключением приобских курганов, о которых не мог уверенно сказать «остались ли они от тюркских народов или они были сооружены угросамоедскими племенами или енисейцами».

С легкой руки реакционного немецкого археолога Коссины, теории которого были приняты на вооружение германского империализма, в конце XIX в. многие археологи были заняты поисками «прародины» своих народов. В частности, скандинавские археологи Аспелин, Гайкель, Мартин, Тальгрэн, активно участвуя в изучении памятников древности Сибири (здесь они искали «прародину» финнов и других скандинавов) причисляли часть курганов Алтая к древностям скандинавского круга.

В. М. Флоринский, профессор Томского университета, находил в Сибири — прародину ...славян, которым он приписал большинство курганов и бугровых вещей Западной Сибири.

Слово советским археологам Советские археологи, вооруженные марксистско-ленинской методологией и новейшими методами ведения полевых и камеральных исследований, впервые поставили дело изучения памятников древности Алтая на подлинно научную почву. Наряду с другими археологическими памят-



Карта расселения степных племен Евразии в середине I-го тысячелетия до нашей эры (по С. И. Руденко).

никами были предприняты и раскопки курганов Горного Алтая, его предгорий и Верхнего Приобья. Большой успех при этом выпал на долю археологов М. П. Грязнова и С. И. Руденко, изучивших курганы Горного Алтая эпохи раннего железа: они открыли блестящую цивилизацию горных скотоводческих племен. Особая ценность курганов типа Пазырыка заключается в том, что благодаря линзам вечной мерзлоты, образовавшимся под насыпями курганов, обработанных еще современниками погребенных вождей, в погребальных камерах и конских захоронениях сохранилась масса различных предметов (оружие, снаряжение, украшения и т. п.) из дерева, кожи, волоса, рога, кости, тканей и др. Сохранились даже трупы (не скелеты!) коней, а в саркофагах из лиственницы в ряде случаев — мумии погребенных. Впервые был получен материал в такой полноте, о которой могут только мечтать археологи и которая позволила дать полнокровную характеристику жизни древних горцев Алтая — их занятий, быта, искусства, идеологии и т. п.

С. В. Киселев, Л. А. Евтюхова и другие археологи исследовали серию курганов, относящихся к древнетюркской эпохе, когда на Алтае стали складываться раннеклассовые общества и примитивные государства в виде племенных союзов.

Курганы предгорий Алтая и Верхнего Приобья, благодаря трудам М. П. Грязнова, заняли свое место среди других памятников ископаемых культур эпохи железа.

А вот археологическим памятникам (в том числе курганам) левобережной степи и правобережной лесостепи опять не повезло: эти «глубинки» не подвергались даже поверхностному обследованию археологов.

О чем рассказали наши раскопки

За последние годы автору этих строк удалось учесть десятки курганных могильников в долинах Чумыша и Чарыша, Алея и Ини, Барнаулки и Касмалы, озер Кулунды и Приобья и исследовать свыше 30 курганов. Все они имели сравнительно небольшие насыпи и в большинстве своем оказались неогранными, хотя и бедными по инвентарю.

Значительное количество степных курганов относится к скифо-сарматскому времени или к эпохе ранних кочевников (VII—I вв. до н. э. по М. П. Грязнову).

Нами раскопано 20 таких курганов: Гоньба — 1, Нечунаево — 1, Кочки — 1, ур. Раздумье — 11, Зайцево — 3, Соколово — 1, Древесянка — 2.

К сожалению, я вынужден дать лишь их общую характеристику.

Насыпи их колеблются от 8 до 20 м в поперечнике, от 0,4 до 1,2 м по высоте. 11 курганов были индивидуальными захоронениями, а остальные — семейными усыпальницами. Всего под насыпями курганов открыто 66 могил. Были среди них и такие, в которые нанесли свои визиты грабители. Но большинство погребений не тронуты: для бугровщиков они были слишком бедны. В семейных курганах главные могилы имеют широтную ориентировку, а остальные располагаются

вокруг в разных направлениях, причем, иногда в два яруса. (кург. № 6, № 11 и др. в Раздумье).

Большинство могил — индивидуальные захоронения, но есть и парные (мужчина и женщина — Соколово, взрослый человек с ребенком — Раздумье) и даже «тройные» (мужчина, женщина и ребенок — Соколово, дважды по трое мужчин — Раздумье и трое детей — Зайцево).

Глубина могил колеблется от 0,7 м до 3,4 м. Форма ям прямоугольная или овальная, размеры их зависят от возраста и количества погребенных в яме. В соколовском, дресвянских и некоторых раздумских курганах могильные ямы с одной или с нескольких сторон имеют уступы. Большинство могил не имеет внутренних конструкций, а многие — даже следов покрытия, но главные могилы всегда перекрыты накатами из бревен и горбылей в несколько рядов (иногда толщиной свыше 1 м) и имеют по периметру могилы бревенчатую обвязку.

Несколько раз отмечено обгорелое дерево, что связано, видимо, с обычаем поджигания надмогильных устройств. Почти повсеместно в могилах находились кусочки угля, мела, иногда серы, смолы. В ряде могил были найдены площадки-курильницы. Наличие всех этих материалов говорит о поклонении раздумцев огню. Возможно, курильницы, сера, смола и т. п. являются атрибутами очистительного обряда, в ходе которого жгли серу, смолу и этим фимиамом окуривали умерших, подобно тому, как у христиан во время различных служб воскуривают фимиам, сжигая ладан.¹

Основной чертой погребального обряда является труположение.

Умерших хоронили в одежде с украшениями и предметами личного снаряжения. Трупы укладывали на войлочную или травяную подстилку, головами на запад или восток (в семейных усыпальницах это правило соблюдается в отношении захороненных в главных могилах), на спине, обычно с вытянутыми вдоль тела руками. Однако, есть случаи погребения покойных в так называемых «танцующей» (руки и ноги несколько согнуты в локтях и коленях и отставлены в стороны) и «атакующей» (одна нога выставлена вперед, другая подогнута) позах.

Есть случаи (напр. в соколовском кургане), когда трупы умерших положены по диагонали могилы.

Во многих могилах встречались кости домашних животных: это части туш жертвенных животных — обычно крестец с курдюком или нога овцы, бок теленка или барана. Около костей иногда находили железные ножи с кольцевидным навершием рукоятки, а однажды — бронзовый нож (Раздумье).

¹ Впрочем, по всем этим вопросам нет еще полной ясности: есть, например, мнение, что площадки являются не алтарями-курильницами, а предметами туалета (на них якобы растирали краски). Во всяком случае их обычно находят в погребениях женщин.

В большинстве могил оказались глиняные сосуды (обычно 1 или 2, в одном случае — 3), сделанные из грубо промешанного теста, но хорошо обожженные. Среди них много высокогорлых стройных кувшинов и кувшинов бомбовидной формы (есть кувшины с ручкой), горшки без ушков и с ушками или с отверстиями под венчиком, плоско, в двух случаях (Кочки, Раздумье) найдены сосуды в виде бочки с горловиной на боку. Они обычно бедно орнаментированы (рядок пупырьков, несколько рядов ямок и т. п.) или совсем не имеют орнамента. Иногда орнамент имитирует швы кожаных сосудов, которые были обычны в быту кочевников Горного Алтая.

Из другого инвентаря можно назвать: в мужских могилах — предметы вооружения (наконечники стрел, кинжал) и части сбруи (подвески, псалии, удила, бляхи, обоймицы и др.), а в женских — бронзовое шило, глиняные и каменные пряслица — из орудий труда, бусы, серьги, бисер, бляшки нашивные — из украшений; бронзовые зеркала (2 случая), створки крупных раковин для хранения красок — из предметов туалета; каменные алтарики — из предметов культа; в детских — просверленные астрагалы барана — из игрушек.

Большая часть могил в раскопанных нами курганах датируется IV—II вв. до н. э., но есть среди них и более древние. Небогатый, но интересный инвентарь их хорошо дополняют случайные находки из курганов долины Алей и Барнаулки. Так, из кургана у с. Ключи происходит замечательный обоюдоострый меч с прямым перекрестьем, серповидным навершием и с рукоятью в виде двух стержней, а из с. Калистратихи — кинжал того же, так называемого прохоровского типа, и бронзовые предметы: пряжка с неподвижным шпеньком на дужке, пуговица и втульчатый наконечник стрелы. Несколько бронзовых наконечников скифского типа найдены в разных пунктах степного Алтая (Ст. Кучук, Барнаул, Киприно и др.). К этому же времени относится серия сосудов из разрушенных курганов (Бураново, Камень, Ново-Троицкое и др.). Очень любопытна находка начала VI в. до н. э. из распаханного кургана в с. Штабка: бронзовые удила с псалиями в виде полых усеченных пирамид, увенчанных полыми же фигурками сохатых, с шаркунцами.

Все эти курганы по погребальному обряду и инвентарю могут быть включены в круг памятников скифо-сарматского типа. Они обнаруживают большую близость курганам алтайских предгорий и Горного Алтая (форма и орнамент кувшинов, конструкция узды, каменные алтарики, такие мотивы изобразительного искусства, как голова грифа, летящая птица). Культура племен, оставивших степные курганы, имеет черты сходства с культурой тагаро-таштыкских племен Енисея (бочковидные сосуды с горловиной на боку, отдельные виды орнамента на сосудах), а также с культурой скотоводческих племен юго-восточного Казахстана и Средней Азии (сосуды с ушками и ручками и др.). Не меньше, а, пожалуй, даже больше параллелей можно отметить в культуре наших степняков и степных племен Нижнего Поволжья и, особенно, Южного Приуралья (кинжалы и мечи прохоров-



Бронзовые псалмы из кургана в с. Штабка, близ Барнаула.

ского типа, такие черты погребального обряда, как широтная ориентировка усопших, диагональное положение их, различные позы покойных, положение в могилы частей туш животных и ряд других).

Вместе с тем, есть основания считать, что часть наших степных племен составляла особую группу племен раннежелезного века, хотя и близкую алтайским горцам и южным приуральцам. У них, например, конь не играл той важной роли, как у ранних кочевников

Алтая и у савроматов Южного Приуралья, где был распространен обычай хоронить умерших с одним или с несколькими конями. Правда, главным занятием их было тоже скотоводство, но доля рогатого скота была, видимо, относительно больше, чем у ранних кочевников. Отдельные формы сосудов (бочки с горловинами), формы курильниц (без ножек) и другого инвентаря и другие моменты также отличают их от тех и других.

При господстве патриархата у них отмечается высокое общественное положение женщин, во всяком случае некоторых. Очевидно, эти женщины были жрицами родовых и семейных культов: об этом говорят находки алтариков в женских могилах, а также находки в двух женских могилах бронзовых зеркал — зеркало в те времена почиталось как священная вещь, отражение в нем расценивалось как образ души.

В то же время в обществе наших степняков шли глубокие социальные процессы: не случайно вокруг главных могил в семейных усыпальницах встречаются умершие, похороненные совсем без инвентаря, равно, как не случайно в двух курганах (Раздумье) найдены золотые предметы — трехзвенная с бусиной серьга (кстати, она принадлежит к одному из типов, представленных в Сибирской коллекции Петра I) и бляшка. А ведь мы копали рядовые курганы, которые, конечно, и по размерам и по богатству инвентаря не могут идти в сравнение с большими курганами богатой и могущественной знати.

Таким образом, на территории Алтая во II-й пол. I-го тыс. до н. э. жили, по крайней мере, три группы племен с определенными отличиями в хозяйственном укладе, в уровне общественно-политического развития, но в то же время близкие по материальной и духовной культуре (скифо-сибирский стиль в изобразительном искусстве, единые типы орудий труда и оружия и т. п.). Это скотоводы-кочевники гор и предгорий, скотоводы-полукочевники степей и лесостепей и оседлые племена лесной зоны (большереченские племена — VII в. до н. э. — I в. н. э.).

Для племен эпохи раннего железа впервые становятся известными названия и самоназвания. Эти сведения содержатся в трудах «отца истории» греческого ученого Геродота (V в. до н. э.), Птолемея и др. К сожалению, местонахождение отдельных племенных групп не поддается пока точному определению: разные ученые одни и те же племена именуют различными названиями, расселяют их в разных районах огромного пояса степей, протянувшегося от Венгрии до Великой Китайской стены. На одной из последних карт С. И. Руденко помещает в Приуралье ирков, на Ишиме — «плешивых от рождения» ар-гиппеев, якобы отделившихся от царских скифов, а в междуречье Иртыша и Оби (верхнее течение) — легендарных «стерегущих золото грифов». Все эти племена С. И. Руденко считает скифскими. С. С. Черников, вслед за Э. Эйхвальдом, называет горные племена Алтая, оставившие Пазырык, Башадар и другие курганные некрополи, не мифическими грифами, а аримаспами. Сопоставив предметы из Сибирской коллекции Петра I с находками из горно-алтайских курганов,

С. И. Руденко пришел к выводу о принадлежности основной части коллекции (а, значит, степных курганов и курганов типа Пазырык, Башадар в Горном Алтае) скифо-сарматским племенам и предполагает, в частности, что они могли принадлежать аргиппеям, аримаспам, «грифам» (юэчжам), а частично ииркам, исседонам и соседям последних сакам-тиграхауда (см. карту).

Впрочем, вопрос о принадлежности племен Алтая к скифо-сарматским племенам пока еще нельзя считать решенным.

Больше того, до сих пор не решены проблемы происхождения скифов, сарматов, возникновения скифо-сибирского звериного стиля. Соглашаясь в том, что скифы и сарматы говорили на диалектах иранского языка, некоторые ученые (Ростовцев и др.) считали их пришельцами с востока, из Ирана, Срединной Азии.

В наше время, особенно после открытий С. П. Толстова в Тагискенте (Средняя Азия) и С. С. Черникова (Восточный Казахстан) советские ученые считают скифо-савромато-сакские племена раннежелезного века потомками степных племен Евразии эпохи бронзы (андроновцев, срубников и др.).

Более поздние курганы

всего 5 курганов,

Значительная часть алтайских степных курганов сооружена в I-м тыс. н. э.

В равнинной части Алтая было исследовано

датированных 1-й пол. I-го тыс. н. э.: два у

г. Камня, два около с. Усть-Чумыш и один близ с. Степной Чумыш. Все они могут быть отнесены к первым этапам (II—V вв. н. э.) Верхнеобской культуры (II—VIII вв. н. э.). Эти курганы невелики по размерам (диаметр насыпей 8—10 м, высота 0,7—0,9 м) и, к несчастью, ограблены. Нашу добычу составили лишь небольшие железные удила с круглыми кольцами, ножичек, обломки костяного наконечника стрелы и какой-то поделки, украшенной резным ромбическим орнаментом (Усть-Чумыш), трехперый наконечник стрелы, нож, крючок для подвешивания колчана и две пряжки — все из железа (Ст. Чумыш).

Племена Верхнеобской культуры, по М. П. Грязнову, пришли на Алтай из Западной Сибири. Они были уграми по языку; занимались они охотой и скотоводством.

Первая половина I-го тысячелетия н. э. была временем вели-

Бронзовое зеркало из кургана в урочище Раздумье (Каменский район).

кого переселения народов. За это время господство хунну в Южной Сибири сменилось владычеством сяньбийцев, затем жуань-жуаней. В юго-западном Алтае во II—V вв. существовало княжество Юебань, основанное гунно-юэчжуйской аристократией, к которой принадлежал князь из Тугозвоновского погребения.¹ Есть в наших степях, конечно, и курганы VI—VII вв., но они не подвергались раскопкам.

Близ с. Иня (Шелаболихинский район) нами исследовано 6 курганов VIII—X вв. н. э. Их насыпи почти срастались друг с другом. Умерших членов малой патриархальной семьи здесь хоронили под одной насыпью, вокруг могилы главы семьи — мужчины. Трупы обычно укладывали на спину головой на северо-восток. Над ямой сооружали из дерна невысокий домик, покрытый поперек бревнами или горбылями и 1—2 слоями бересты. При похоронах убивали боевого коня, взнузданного и оседланного, и укладывали его на брюхо с подогнутыми ногами. При этом на левую руку покойного наматывали повод, а левую ступню, видимо, продевали в стремя (чтобы ускорить и облегчить... посадку в седло). Кстати, мужчины-воины экипированы луком и стрелами, ножами, топорами-теслами и т. п., иными словами — вооружены до зубов.² Заупокойную пищу их составляли целые туши овец. В двух случаях были погребены собаки — верные друзья охотника и пастуха. В женских и детских могилах мы находили нарядные стеклянные бусины, цветной бисер, грубо лепленные сосуды с округлым дном.

В VIII—X вв. в степях Алтая расселялись тюркоязычные племена — предки современных алтайцев. После разгрома Тюркского каганата (VIII в.), созданного аристократией тюрков-тугю Горного Алтая в VI в. н. э., Алтай подпал под владычество сначала уйгуров, потом енисейских кыргызов. Последним, вероятно, принадлежат случайно раскопанные курганы в Мало-Панюшево и Пospelихинском совхозе, из которых происходят подвески в виде сердца, ромба и рыбки, покрытые рельефным растительным узором, и другие предметы.

Курганы I-ой пол. II-го тыс. н. э. изучались М. П. Грязновым (у с. Большая Речка) и мною (близ с. Ст. Кучук, в ур. Раздумье). Все они были раскопаны раньше. В центре кургана на Бл. Елбанах оказались остатки обгоревшего сруба с плоской крышей, обложенного с боков и сверху дерном. В могиле найден скелет человека, кости жертвенного коня, железный наконечник стрелы, а за срубом — наконечники копий и три пачки наконечников стрел из железа и кости, роговые части лука, оселок из камня, две ложки, нож, серебряная подвеска в виде желудя на цепочке и другие предметы.

В курганах Раздумья и Ст. Кучука были найдены огниво и части

¹ См. альманах «Алтай» № 4, 1962.

² Аналогичный, но более богатый инвентарь дали курганы у с. Сросток (близ Бийска), от которых культура племен VIII—X вв. н. э. получила название Сросткинской.

кресала, молоток-зубило, удила, наконечники стрел с плоским круглым жальцем и др.

Вместе с курганами Борового Форпоста эти курганы можно отнести к предмонгольскому и монгольскому времени, когда по просторам Алтая прокатилось несколько волн чужеземных пришельцев — кара-китай (XI в.), найманы (XII в.), а затем монголы (XIII в.).

Самой последней по времени группой курганов являются курганы XV—XVIII вв. Четыре таких курганчика мы раскопали у с. Зайцево. Скелеты умерших лежали в мелких ямках на спине, головой на северо-восток, кисти рук на костях таза.

В могилах, кроме охотничьих ножей, ничего не было найдено. Возможно, эти курганы оставлены кыштимскими ойратских или телеутских князей. Видимо, бедность могил объясняется тяжелой даннической зависимостью кыштимов. Они жили по берегам Оби и ее притоков и занимались охотой и рыболовством.

Заканчивая свой рассказ о степных курганах, я хочу подчеркнуть, что они являются памятниками разных исторических эпох и принадлежат разным племенам и народам, а не одной легендарной «чудии». Среди степных курганов есть немало некопанных. Они, конечно, не идут ни в какое сравнение по богатству своего инвентаря с «золотарями», но их неброские материалы очень нужны для истории ряда эпох, а поэтому исследование «степняков» становится насущной задачей. Больше того, надо обязательно исследовать и копаные бугровщиками курганы; они таят под своими насыпями еще немало тайн.

Наконец, надо взять под охрану те из курганов, которые еще не подверглись распахиванию: потомки не простят нам равнодушного отношения к судьбе памятников древности.

Недалеко то время, когда степные богатыри Алтая обретут дар речи и поведают археологам ныне еще неведомые вековые тайны.

Бруно ТРАВЕН

ОБРАЩЕНИЕ В ХРИСТИАНСТВО

Р а с с к а з

Трудно представить себе, чтобы в наше время существовал знаменитый писатель, о котором мы ничего не знали. Ведь даже «кратковременно знаменитых» киноактеров или спортсменов буржуазная пресса способна довести до самоубийства, разгласив «по секрету всему свету» интимнейшие подробности их частной жизни. А тут — автор полутора десятков романов и многих рассказов, переведенных на двадцать языков!

И все же это о нем, об этом писателе сообщал в 1960 году немецкий литературный справочник: «Человек под псевдонимом, о котором достоверно не известно, когда он родился и жив ли он еще...» Неудивительно, что у него было 22 (двадцать две!) «достоверных» биографии.

Неизвестный знаменитый писатель писал по-немецки, хотя герои его жили далеко от берегов Эльбы и Рейна. Все его симпатии принадлежали угнетенным индейцам и белым труженикам далекой и экзотической Мексики. Он сам жил там и трудился вместе с ними, был моряком и фермером, пекарем и сборщиком хлопка. Было даже вполне определенно известно, что этот человек — социалист, что он симпатизирует народным революционным движениям в странах Латинской Америки. Но имени его никто не знал — некоторые лишь догадывались, почему он скрывается под псевдонимом...

И вот теперь, благодаря десятилетним трудам литературоведа и журналиста из ГДР Рольфа Рекнагеля, загадка раскрыта. Под именем, известным всему миру, под псевдонимом Бруно Травена, в течение почти сорока лет скрывался немецкий публицист Пет Марут, человек, которого германская реакция заставила эмигрировать в Латинскую Америку еще в 20-е годы. Среди простых людей Мексики он нашел новую родину.

Рассказ «Обращение в христианство», который мы публикуем, написан по мотивам индейской легенды.

Однажды к испанскому монаху Балаверде, миссионеру, проповедовавшему истинную веру среди мексиканских индейцев, пришел индейский вождь по имени Черное Перо.

Это случилось в те далекие времена, когда среди католических миссионеров еще попадались иногда такие, которые не думали лишь об укреплении весьма земной политической власти католической церкви, а в самом деле пытались обращать в христианство индейцев, искренне и вполне бескорыстно желая избавить несчастного дикаря от бремени греха и по-братски помочь ему вознестись на небо.

Многие из этих монахов исполняли свой долг столь самоотверженно и честно, что вряд ли можно найти было подобные примеры в других странах. Они не только несли индейцам благодать божию, но и знакомили их со многими вещами, весьма полезными в земной жизни. Так, они научили индейцев сотням полезных искусств и ремесел: разводить шелковичных червей, вышивать рисунки тонкой работы, покрывать глазурью глиняную посуду и многому другому.

Поэтому не было ничего удивительного в том, что индейцы иногда сами приходили к монахам, чтобы познакомиться с новой религией. Именно за этим и пришел Черное Перо со своими спутниками к патеру Балаверде.

— Нашими богами, особенно главными, — сказал он монаху, — мы вполне довольны. Но боги помельче доставляют нам все же немало неприятностей. Нам нужен дождь, а бог дождя не шлет ни капли. Ждем сухой погоды, а бог сухих ветров забыл и думать о нас. Случается такое и с другими младшими богами. Так вот, собрались старшины моего племени и решили послать меня сюда, к провозвестнику новой религии. Велели узнать, не предложишь ли ты нам богов получше. Если мы увидим, что твои боги лучше наших, то мы готовы принять их и забыть своих собственных. Расскажи нам о своей вере, мне и моим сородичам. Мы послушаем и принесем слово твое нашему народу, а потом пришлем тебе ответ о нашем решении.

Монах не заставил себя долго ждать и тут же, без больших церемоний, пересказал гостям содержание евангелия. Пересказал простыми словами, примерно так, как рассказывают детям сказки и истории, оставляя в стороне все, что может смутить их или вызвать ненужные сомнения. Поступая так, проповедник только доказал, что умеет обращаться с простыми людьми, такими, как эти индейцы. По правде сказать, у него даже не было другого выхода — ведь беседа велась на языке этого племени, а познания патера в нем были не слишком обширны.

Вождь несколько часов подряд терпеливо слушал проповедника, не проронив ни слова.

Когда наконец монах закончил свой рассказ, Черное Перо поднялся с земли и сказал:

— Дорогой друг, я выслушал все, что ты нам поведал. Мой ответ уже готов, но я не открою его сразу, ибо ты говорил так честно и искренне, что, поступив опрометчиво, я причиню боль твоему серд-

цу. Второпях я могу сказать необдуманное слово и обидеть тебя и твоих богов. Так у нас не делают. Мы ляжем спать здесь поблизости и во сне хорошенько подумаем еще раз, а наутро я вернусь и скажу тебе, что я думаю и что решил я в душе своей. Это будет не поспешное, но обдуманное решение, истинное мое слово. Тогда мы не обидим ни тебя, ни твоих богов, потому что предложим тебе чистый плод своих спокойных мыслей. Ни один бог не разгневется, если честно и неспешно говорить ему правду, ибо он сам вкладывает эту правду в твое сердце. Доволен ли ты, друг мой?

— Конечно, доволен, брат мой, — отвечал патер, — я вполне доволен. Бог и святая дева направят твои мысли и приведут тебя и всех твоих соплеменников к вечному блаженству... Иди с богом...

На следующее утро, едва патер отслужил мессу в часовне и сел за трапезу, явился вождь со своими воинами.

Монах хотел тотчас же приступить к делу, но Черное Перо остановил его:

— Я вижу, ты садишься за еду. Лучше поешь спокойно, ибо ты голоден и будешь торопиться. А дела религии не стоит решать наспех ни в твоей, ни в моей вере. Ступай, а когда утолишь свой голод, мы поговорим с тобою.

Позавтракав, монах снова вышел к ним. Вождь и его советники присели под деревом у часовни.

Балаверде не торопился с вопросами. Он спокойно ждал, когда заговорит вождь.

— Хорошо обдумал я, — промолвил наконец Черное Перо, — все слова, которые ты сказал мне вчера. Твой бог, стало быть, допустил, чтобы его побили плетью? Это было так?

— Да, — подтвердил патер, — допустил, чтобы взять на себя грехи мирские.

— На него плевали, его ругали, в него бросали грязью, над ним издевались как над царем шутов, высмеивая его, на него надели шапку из колючего дерева. Это было так?

— Да, — повторил монах, — он позволил им сделать все это, чтобы взять на себя грехи человечества.

— Он допустил, чтобы его пригвоздили к перекладине, и умер с позором, как жалкий пес? Это было так?

— Да, — сказал патер, — он пошел на это, чтобы избавить людей от всех грехов.

— Так вот мой ответ, — произнес тогда вождь серьезно и с достоинством. — Кто не внушает людям уважения своим обликом, кто не ропщет, когда на него плюют, ругают его, издеваются над ним и швыряют в него навозом, тот не может быть богом для индейцев. Кто не может и не хочет защитить себя, у того нет ни силы в крови, ни храбрости в сердце. Он не может быть богом для индейцев. Кто не может и не хочет освободиться от перекладины, к которой его пригвоздили, не избавит людей от страданий. Значит, он не годится в бо-

ги для индейцев. Кто воет и визжит, как старая баба, когда его приколочивают к перекладине, тот не бог для индейцев.

Тут монах не вытерпел. Он не мог хранить молчание подобно вождю, который так терпеливо слушал его вчера:

— Все это святитель совершил, чтобы спасти человечество! Он претерпел муки, чтобы избавить нас всех от страданий и скорби!

— Ты говоришь, — отвечал вождь, — что твой бог всемогущ, что он — бог любви бесконечной. Это так?

— Да, это правда.

— Если он в самом деле всемогущ, твой бог, то почему он не охранит людей от грехов и злодеяний — без страданий, без издевательств, без позорной смерти на кресте? И если он в самом деле бог любви бесконечной, то почему же он заставляет людей страдать за грехи, зачем он вообще позволяет людям грешить? Только для того, чтобы устроить столь длинное и столь жалкое представление?

— Но бог, — прервал его монах, — совершил это, чтобы люди добивались вечного блаженства через веру и труды свои...

— Зачем ходить кругом, друг мой, если есть прямая дорога? — спокойно сказал индеец. — Зачем добиваться трудом и молитвами того, что бог при его бесконечной любви и безмерном могуществе может дать человеку даром? Ведь дает же мне все на свете из любви моя мать, дает и не спрашивает, заслужил ли я это, верю ли я ей и молился ли я сегодня? Она отдает мне все, не споря и не торгуясь, отдаст, даже если я — сохрани меня бог от этого — обругаю ее, посмеюсь над ней или даже побью ее. Моя мать выше твоего бога — у нее больше любви бесконечной, больше всепрощения и меньше желаний, чтобы в нее верили и ей молились.

Тут патер уклонился от ответа и повел речь о другом догмате своего вероучения, наверняка зная, что он неотразимо действует на индейцев. Он сказал:

— Но ведь мой бог не умер, ты вчера, наверное, не так меня понял. Через три дня он воскрес из мертвых и торжественно вознесся на небо.

— Сколько раз? — спросил вождь просто и деловито.

— Один раз... конечно... — отвечал озадаченный патер.

И сколько раз твой бог возвращался оттуда? — и этот вопрос Черное Перо задал тем же деловым тоном.

— Он еще не возвращался, — отвечал монах, — но возвестил, что однажды вернется, чтобы судить...

— ...и проклинать! — подсказал ему вождь.

— Да, — подхватил монах, уже порядком рассерженный этим диспутом, — да, чтобы проклясть всех и вся, кто не верит в него, кто придирается к каждому его слову и не хочет признать учение об истинном блаженстве, даже если его предлагают от души и совершенно даром!

Вождя не тронула вспыльчивость монаха. Помолчав, он сказал ему так же спокойно, как и прежде:

— И вот что еще передал мне бог как свое последнее слово: наш бог умирает каждый день за своих детей-индейцев, он умирает, чтобы принести нам прохладу, покой и мир. Он умирает, погружаясь в глубокий золотой покой. Наш бог умирает не обруганный, не оплеванный и не обмазанный навозом. Он умирает красиво, как настоящий великий бог. Но на следующее утро он снова воскресает к жизни, облаченный сначала в пелену смерти. Но вскоре его золотые копыта пронзают синеву неба, и вот он встает перед нами, великий, богатый и могучий, дающий свет, тепло, красоту и плодородие. Он дарует краску и запах цветам, он учит песням сладкогласных птиц, он наполняет силой и здоровьем зерна маиса, он вливает сладость и пестрые соки в плоды деревьев, он играет с облаками, гоняясь за ними в голубом воздушном море. И, как моя любимая мать, он, бог наш, дает, дает и дает, не спрашивая ничего взамен, не требуя молитв и не ожидая их, не навязывая веры в себя и никого не проклиная. И когда настает вечер, он умирает снова, уходя от нас в золото-пурпурный покой. Он уходит, не оплеванный и не стонущий, он уходит со спокойной улыбкой, которая обещает нам глубокий мир, уходит, благославляя своих детей-индейцев последним взглядом своих усталых глаз. А наутро он снова появляется на небе, вечно юный и вечно сияющий, вечно дарящий и вечно возрождающийся, великий и богатый бог индейцев. И сказал мне бог свое последнее слово: не обменивай своего бога, добрый сын мой, потому что нет бога могущественнее, чем твой, бога веселья, который ликует и пляшет в своих лучах. Нет лучше и благороднее бога на всем свете, чем сияющий бог индейцев...

Сказав это, вождь поблагодарил патера Балаверде за дружественный прием. Затем он скатал свое пончо, перекинул его через плечо и пошел вместе с воинами обратно к своему народу.

Он собрал мужчин своего племени, чтобы поведать им о путешествии к миссионеру. Его сородичи не привыкли говорить длинные речи и не привыкли их слушать. Но на этот раз даже они были удивлены тому, сколь краток может быть рассказ о далеком путешествии и о долгой беседе с провозвестником новой религии.

— Братья, — сказал вождь, — не меняйте корзину, полную спелого золотого маиса, на закрытую корзину, в которой лежит неизвестно что... Я кончил...

Короткий рассказ вождя не вызвал, однако, никаких сомнений или вопросов.

Это племя и поныне живет в северной части гор Сиерра Мадре. Оно так и не познало вечного блаженства христианской религии. Неудержимое разложение католической церкви, сулившей людям мир, но так и не принесшей его, не оставляет нам никакой надежды встретить однажды этих индейцев и еще с полсотни других племен в рядах крылатых музыкантов и трубачей из оркестра господ бога. Придется нам, как добрым христианам, с глубоким смирением покориться этому желанию других людей, восхваляя премудрость Божию.

Перевел с немецкого Л. Малиновский.

НОВЫЕ ИМЕНА, НОВЫЕ КНИГИ

Заметки о молодой прозе

Литераторов, живущих и работающих на Алтае, сложно делить на молодых и немолодых, начинающих и опытных. Дело в том, что определение это в первую очередь касается не возраста и стажа литературной работы, а результатов этой работы — художественной ценности написанных произведений. Не секрет, что иногда бывает так: выпустит издательство одновременно книгу молодого и книгу опытного, иной раз и члена Союза писателей. Первая книга, молодого автора, расходится в несколько дней, вторая — ложится в поленицы неходовой литературы на книжных складах, как льдина в декабрьский сугроб.

Такое положение характерно и закономерно не только для алтайской писательской организации, но и, наверное, для всех краевых и областных организаций, выросших в послевоенные годы.

Если бы в писательских организациях было принято создавать землячество, то, например, в Новосибирске одним из ведущих было бы алтайское: А. Коптелов, С. Зальгин, Н. Яновский, И. Ветлугин, В. Пухначев. Кроме того, в списке землячества навечно были бы внесены С. Кожевников, Г. Пушкарев, И. Мухачев. Почему так получилось? Новосибирск был столицей Западной Сибири, имел издательство, журнал. «Сибирские огни» собирали вокруг себя и растили писателей, писатели растили журнал.

Когда же в Барнауле было создано книжное издательство, пишущие края — журналисты, члены немногочисленных литобъединений — смогли на первых порах предложить для опубликования только несколько десятков стихотворений и газетных очерков. Однако уже

через год-два начали появляться рассказы, повести, поэмы, а немного позже и романы местных авторов. Со временем из наиболее упорных и наиболее способных литкружковцев постепенно выкристаллизовалась профессиональная писательская организация.

Первыми в Союз писателей были приняты: покойный теперь Иван Фролов, Николай Павлов. Затем — Александр Демченко, Николай Дворцов, Лев Квин, Константин Козлов, Николай Чебаевский, Марк Юдалевич. Почти все они пробовали свои литературные силы еще до войны. В последние годы состав писательской организации стал заметно омолаживаться. С Чукотки, где несколько лет проработал после окончания института, вернулся в родной Барнаул с изданными сборниками стихов и билетом члена Союза писателей Владимир Сергеев; после выхода сборника «Юность в бушлате» во время службы на флоте был принят в Союз Игорь Пантюхов. С год назад стали членами Союза Леонид Мерзликин и Георгий Кондаков.

В настоящее время в крае живет и работает двенадцать членов Союза писателей, пишущих на русском языке, семь на алтайском, один — Фридрих Больгер — на немецком. Кроме того, в ежеквартальном альманахе «Алтай», коллективных сборниках, в газетах, по радио и телевидению регулярно выступают со стихами, рассказами, повестями и другими произведениями около двухсот человек, не состоящих в Союзе писателей.

Среди этих двухсот немало ветеранов и в какой-то мере зачинателей литературного дела на Алтае. Они верховодили в литературных объединениях, преподавали первые уроки литературной грамоты молодежи, в том числе многим из нынешних профессиональных писателей. Это Алексей Сотников, Вячеслав Чиликин, Александр Садыков, Михаил Длуговской, Иван Меликов, Федор Моисеенко, Борис Пасынков, Василий Разливинский и другие. Отдельные из них еще в довоенные годы печатали стихи в краевых газетах и сейчас выступают с книгами, в коллективных сборниках, в альманахе.

Литературное мастерство, как и музыкальное, лучше осваивать в ранней молодости. И еще лучше — не в одиночку, и если не под руководством, то хотя бы на глазах у опытных мастеров. В этой связи молодые прозаики и поэты края, вступающие сейчас в литературу, должны помнить, что часть самого торного пути, который они почти без труда проходят, для них проложили старшие товарищи.

Нельзя забывать и такое немаловажное обстоятельство: Алтай дал стране немало видных писателей, но на самом Алтае литературное дело было и долго оставалось новым делом. И, конечно же, на первых порах не обошлось без ошибок. Даже, казалось бы, самые благие намерения, продиктованные искренним желанием помочь развитию литературы, иной раз приводили к обратным результатам. Так, когда появилось издательство, захотелось поскорее иметь местных писателей и местные книги. А «скоро» и «хорошо», как известно, уживаются редко, поэтому порой приходилось закрывать глаза на явные слабости, художественную незрелость произведений... Привела же эта поблаж-

ка к печальным итогам. Некоторые авторы, в том числе способные, не год и не два писали, издавали книгу за книгой, читали «в целом положительные» рецензии. И вдруг из издательства стали им возвращать рукописи, говоря: так нельзя писать; рецензенты начинают анализировать вышедшие произведения без скидок на «местного автора» и тему. И самое печальное, что эти авторы, с годами уверовавшие в свои силы, не только не хотят, но и не могут иначе писать.

Сбивала с толку пишущих неквалифицированная критика, попытки выискивать несуществующие грехи, а иной раз просто неумение отличить ремесленную поделку от художественного произведения.

Сейчас многие из этих препятствий позади. Конечно, преодоление их потребовало сил, времени, нервного напряжения, то есть всего того, что как раз нужно для творческой работы. Но жизнь идет вперед, писатели работают, на полках магазинов появляются новые книги и часто новых авторов.

Эти заметки ни в какой мере не претендуют на сколько-нибудь подробный разбор всех вышедших книг молодых авторов. У читателей и работников библиотек с каждым днем растет интерес к работе алтайских писателей, и эти заметки — попытка помочь увидеть в книжном море и произведения наших земляков.

Лет пять-шесть тому назад в газете «Молодежь Алтай» начали появляться рассказы Ивана Кудинова. Обращало внимание, что автор их не стремится «закрутить» сюжет, иной раз словно нарочно описывает обыденные случаи. Но все-таки такая намеренная простота не делала рассказы неинтересными и сухими. И. Кудинов уже в этих первых рассказах уделял большое внимание языку, умел не рассказать о человеке, а показать его.

Вскоре у И. Кудинова вышел сборник «Цветы на камнях», журнал «Юность» поместил его повесть «Погода завтра изменится», затем в альманахе «Алтай» были опубликованы его повести «Коралловый камень», «Возможна гроза».

У И. Кудинова намечается своя тема. Он прослеживает формирование характеров молодых людей, выходящих в жизненный путь, воспекает радость открытий, узнаваний. Герои его — мыслящие и ищущие люди. Они пытаются понять, в чем смысл жизни и как надо жить.

Нельзя сказать, что все в этих повестях И. Кудинова безукоризненно. Если, например, прочитать подряд «Коралловый камень» и «Возможна гроза», почувствуешь некоторые повторы, в повести «Погода завтра изменится» есть ситуации, знакомые по произведениям других писателей. Молодой автор, как и его герои, находится в постоянном поиске. А поиск, как известно, радует не только находками.

Примерно в одно время со сборником И. Кудинова вышла первая книжка рассказов Виктора Попова «Начало биографии». Некоторые из рассказов, вошедших в этот сборник, печатались в «Сибирских огнях», альманахе «Алтай» и краевых газетах. Затем у В. Попова выходили очерки и недавно вышла его третья книга — «Закон-тайга».

способные, «в целом м возвращают ана- о автора» вавшие в ка, попыт- неумение произве- еодоление , всего то- ет вперед, е книги и ко-нибудь читателюй работе ал- ь в книж- я» начали что автор но описы- остота не же в этих не расска- нях», жур- нится», за- «Коралло- формиро- путь, вос- ие и ишу- надо жить. безукориз- камень» и вести «По- изведениям ится в по- находками. ла первая Некоторые бирских ог- Попова вы- -тайга».

В. Попов так же, как и И. Кудинов, много работает над языком, но он щедрее на краски, пишет размашистее. Он любит выписать де- таль, порой вроде бы совсем малозначащую, так, чтобы ее не только увидеть, но и почувствовать можно было. Любит он обновлять, возвра- щать к жизни, казалось бы, устаревшие слова.

Умеет проникать В. Попов во внутренний мир героев и показы- вать его со всеми мельчайшими деталями и оттенками. Особенно по- казательны в этом отношении повесть «Закон-тайга» и, на мой взгляд, один из лучших рассказов В. Попова «Я тебя не люблю».

Разумеется, выводя желанный узор на каждом кирпиче, не скоро выложишь большое здание. Однако не верится, что В. Попов так и останется автором коротких рассказов и повестей, рассчитанных во многом на тонких ценителей стиля — «по диагонали», как некоторые книжки про шпионов, произведения В. Попова читать не интересно. Тем более, что ездить куда-то за материалами этому писателю не нужно. За плечами у него работа на военном заводе, на Чукотке и т. д. По-видимому, главные книги у В. Попова впереди.

Читатели края давно знакомы с очерками и рассказами Вячесла- ва Чиликина. Прошлым летом на книжных прилавках появился его роман «В паучьих лапах», в котором осуждается равнодушие, чинов- ницье отношение к людям, с гневом говорится о вреде, который несут людям религиозные секты. Роман довольно быстро разошелся, вы- звал немало благожелательных отзывов читателей. К сожалению, взяв очень важную тему, В. Чиликин, мне кажется, не сумел доста- точно убедительно показать «изнутри» процесс перерождения человека.

Отличительной особенностью активно и серьезно пишущих наших прозаиков и поэтов является то, что большинство из них взялось за перо уже в зрелом возрасте. И почти всех их встать на нелегкую до- рогу литературного творчества заставило неоторимое желание рас- сказать людям о чем-то важном, нужном, интересном.

Показателен в этом отношении пример Ивана Шумилова. В годы Великой Отечественной войны он командовал боевым подразделением в одном из партизанских отрядов, действовавших в Белоруссии. Вер- нувшись после войны домой, много лет работал учителем в сельской школе, затем директором. В это время сам учился на заочном фа- культете пединститута. И писал. Первые его очерки о партизанских буднях, опубликованные после войны в «Сибирских огнях», затем рас- сказы, напечатанные в альманахе «Алтай», были тепло встречены чи- тателем. В последующие годы И. Шумилов выступал с рассказами в коллективных сборниках, выходили у него рассказы, в том числе дет- ские, отдельными книжками. В 1961 году издательство выпустило его повесть «Трещина» — о семье, борьбе за нашу советскую мораль. И через три года вышел роман «Жажда».

В этом романе, как в зеркале, отразились сила и слабости И. Шумилова как художника. Ему удалось вывести ряд живых об- разов. Особенно запоминаются Соснов, Ведерников. Да и главный ге- рой — Махов — не придуман автором. С такими маховыми многие

встречались и много от них натерпелись. Но беда в том, что, слается, писатель сам не до конца понял, не раскусил своего героя. Прочитав роман, так и не можешь ответить: кто же Махов? Или он истинно верующий в то, что рядовые люди — винтики, а руководители — заводные пружины, дело одних — крутиться, дело других — неустанно раскручивать. Или он делец, ловко пользующийся и заботами и нуждами страны, и лозунгами для достижения своих карьеристских целей. Или, наконец, он более сложная фигура: во что-то верит, что-то делает скрепя сердце, в чем-то, стараясь оправдаться перед самим собой, лжет себе. Роман, к сожалению, не дает достаточно материала для убедительного ответа на эти вопросы.

Не понаслышке знает жизнь прозаик Георгий Егоров. На фронте был разведчиком, после войны выпускал заводскую и строительную многотиражки, был редактором районной газеты, краевого радиокomiteта. И упорно работал над своими будущими книгами о борьбе красных партизан Алтая с колчаковцами и другими наемниками мирового капитала. Ездил один и в составе экспедиций на места партизанских боев, встречался с участниками сражений, знакомился с архивными материалами.

Результатом этого многолетнего труда явился роман «Солона ты, земля!», вышедший первым тиражом в 1963 году и очень скоро завоевавший популярность. В романе описываются конкретные события, происходившие в городах и селах края, впечатляюще выписаны многие исторические лица, в том числе такие известные, как Колядо, Громов, Данилов, Голиков, Воронов и другие. Хорош в основе своей язык романа — образный, сочный.

Однако к книге, как к художественному произведению, на мой взгляд, можно предъявить ряд претензий. Георгий Егоров, например, не смог избежать недостатков в построении сюжета. На всем протяжении романа он вводит все новых и новых действующих лиц, некоторых из них потом забывает, они остаются без развития и лишь затрудняют читательское восприятие.

Не всегда автор в должной степени показывает внутреннее состояние своих героев. А это ведет к тому, что их действия иногда выглядят не вполне мотивированными. Можно, например, при чтении книги задать такой вопрос: как случилось, что Лариса, горячо и преданно любившая Данилова, сошлась вдруг с белогвардейским разведчиком Милославским? Возникают подобные вопросы, требующие более подробного ответа, чем это дано автором, и по поводу некоторых исторических событий, на фоне которых разворачивается действие.

И все-таки, несмотря на такого рода просчеты, роман «Солона ты, земля!» — заметное явление в литературной жизни края и серьезная заявка писателя на будущее. Г. Егоров — настойчивый и работоспособный литератор, смело берется за описание крупных событий в жизни народа. Хотелось бы только пожелать, чтобы в последующих

его произведениях ярче, убедительнее были изображены творцы событий — люди.

Хорошо известно тем, кто следит за краеведческой литературой и изучает историю Алтая, имя Петра Бородкина. Он — автор интересных статей и очерков, рассказывающих о различных периодах истории нашего края, в том числе таких, как «С. И. Гуляев», «Революционные события на Алтае в 1905—1906 гг.», «М. К. Цаплин», «Партизанское движение на Алтае» и ряда других. Летом 1963 года у П. Бородкина вышел сборник, содержание которого хорошо раскрывает заголовок: «Исторические рассказы о Барнауле».

Основой для рассказов П. Бородкина послужили действительно имевшие место события, героями являются исторические лица, жившие в свое время в нашем крае. Автор — работник архива, много лет занимается изучением истории Алтая, через его руки прошла масса самых различных документов. Художественное воображение помогло ему увидеть за строками прошений, писем, реестров и прочих частных и казенных бумаг человеческие судьбы, живые картины труда, быта в далеком и не очень далеком прошлом.

Об этом П. Бородкин и написал рассказы. Написал, соблюдая историческую достоверность, вводя иногда в текст даже выдержки из документов, и вместе с тем — увлекательно, образно.

Книга «Исторические рассказы о Барнауле» нашла своего читателя, быстро разошлась. Окрыленный успехом, автор продолжает начатую работу, пишет новые рассказы и повесть об истории края.

Два сборника — «Черемушка» и «Весной» — вышло в последние годы у Петра Старцева. Все, кто читал их, наверняка, обратили внимание, что автор с одинаковым знанием бытовых и профессиональных деталей пишет о том, как постепенно, нередко после тяжелой борьбы, уходит старое из жизни рабочих семей, показывает красоту скромных работающих людей: заводчан, бакенщиков, луговых объездчиков, рыбаков. Секрет тут в том, что у П. Старцева за плечами богатая событиями жизнь. В победном сорок пятом он побывал в Болгарии, Югославии, Венгрии, после войны работал бухгалтером, слесарем, машинистом-компрессорщиком, матросом на сейнере.

Лучшие рассказы П. Старцева, такие, например, как «Весной», отличает образный язык, умение ненавязчиво, с помощью неброских деталей очертить характер. Убедительными получаются характеры мещан и всякого рода типов с кулацкой закваской. Но в обоих сборниках, наряду с хорошими, есть, к сожалению, и рассказы, не новые по теме, с трафаретными ситуациями и характерами.

Почти все писатели края в разное время пробовали писать для детей и юношества, но верными этому самому требовательному и благодарному читателю остались немногие. Среди них — Виктор Сидоров.

Молодые читатели знают его книги «Тайна белого камня», «Федька Сыч теряет кличку» и «Повесть о Красном орленке». Уделяя главное внимание воспитательной роли, которую должны играть его книги,

В. Сидоров в то же время умеет остро строить сюжет, заботится о занимательности.

Одно из отличительных черт нашего времени — небывалое влечение людей самых различных профессий к художественному творчеству. Яркий пример в этом отношении — короткая, но интересная творческая биография Геннадия Комракова. Был рабочим в экспедициях на Дальнем Востоке и на Чукотке, ходил мотористом на теплоходе, работал в типографии, литературным сотрудником в районной газете. Сейчас Г. Комраков — студент-заочник Литинститута имени А. М. Горького — выпустил сборник хороших, вполне профессионально написанных рассказов «Прощай, гармонь!».

В редком номере альманаха «Алтай» не появляется нового произведения, нового имени. Пробует силы в прозе молодой поэт Геннадий Володин, с интересными повестями выступили журналисты Семен Сауни и Алексей Воейков, удачно как рассказчик выступает Марат Кашников. И очень может быть, что в следующем номере альманаха появится талантливая вещь нового автора — нашего земляка, которого сегодня не знают не только читатели, но и литераторы.

Электронная библиотека АКТУР.Сибирь.ру

ПИСЬМА ВИЛИСА ЛАЦИСА

На одном из занятий литературного кружка 27-й школы г. Барнаула зашла речь о произведениях Вилиса Лациса, и кто-то заметил, что в романе «Семья Зитаров» рассказано о Барнауле, Бийске 20-х годов, партизанской борьбе на Алтае, будто писатель сам в то время жил в нашем крае. Решили написать письмо Лацису, спросить у него самого, когда он приехал на Алтай и почему, долго ли здесь жил.

Это было в конце ноября 1960 года, а уже 10 декабря кружковцы получили от Вилиса Тенисовича интересное письмо, где он рассказал о своей жизни на Алтае в 1917—1921 годах. Ребята отстали, и переписка стала постоянной, в адрес кружка (теперь уже школьного литературного музея) приходили из далекой Латвии письма, книги с автографами.

На редкость внимательный, отзывчивый человек В. Лацис, в то время Председатель Совета Министров республики, с трудом выкраивавший время для любимой литературной работы, отвечал на письма школьников в день получения, даже тяжело больной. Последние его письма напечатаны под диктовку и подписаны неровным почерком: «Вилис Лацис».

Читая письма В. Лациса, удивляешься, что памяти, какой-то особенно цепкой: годы, события не стерли тех, видимо, ярких впечатлений, которые оставила Сибирь. Он помнил названия улиц в городе, где жил всего лишь несколько месяцев, сел Алтая, фамилии, имена тех, с кем встречался более сорока лет назад.

Некоторые произведения писателя, в том числе первый опубликованный в Латвии рассказ «Паулина Лапа», написаны на сибирском материале.

Может быть, Вилис Лацис, как герой его романа Янка Зитар, уезжая с Алтая в те далекие годы, увозил заветную тетрадь с первыми литературными опытами, и «в голове его зрела новая поэма — прощальный привет Сибири, этой необычной стране, где он чувствовал себя не на чужбине, то дома, ни минуты не оставаясь равнодушным к ее властной красоте».

Наше публикуются некоторые письма Вилиса Лациса литкружковцам 27-й школы г. Барнаула. Публикация подготовлена Л. Остергаг.

Рига, 4/XII 1960 г.

Дорогие друзья!

Я получил Ваше письмо, в котором вы просили меня рассказать о пребывании в Барнауле и жизни на Алтае в годы моей ранней юности. Мне, к сожалению, невозможно написать Вам пространное письмо, т. к. недавно перенес тяжелое глазное заболевание и очень трудно писать: зрение еще не совсем восстановилось. В коротких словах хочу рассказать следующее.

В Барнауле я приехал в ноябре 1917 года — сразу после Великой Октябрьской

революции — и прожил в вашем городе почти год. Жил на одной из Алтайских улиц (кажется, на Пятой¹), потом на ул. Льва Толстого, почти на самом берегу Оби. Зимой учился в учительской семинарии, летом работал в типографии газеты «Заря Алтай». Потом переехал в Горный Алтай, где прожил до весны 1919 года, а потом перебрался в сторону Кузнецка и прожил в Алтайской тайге до лета 1921 года. В это время работал с отцом в лесу, рубили лес, корчевали пни, собирали хмель, ягоды и т. п. Два года проработал секретарем сельсовета. Тогда же и начал первую «пробу пера»: начал писать рассказы, фельетоны, статьи. Кое-что было напечатано в сибирской латышской печати.

Этот период моей жизни очень ярко сохранился у меня в памяти. Потом, став писателем, я написал ряд рассказов на сибирскую тематику, но больше всего своих впечатлений о тогдашней жизни я изобразил в одной из частей своего романа «Семья Зитаров». Большинство описанных в этом романе событий и переживаний почерпнуто из самой жизни.

С тех пор мне не удалось больше побывать на Алтае, но я много читал и узнал очень многое об изменениях в жизни этого прекрасного, забываемого края. Если бы мое здоровье было получше, я бы охотно поехал еще раз туда, чтобы своими глазами повидать то новое, что создано руками советских людей за эти годы, но это мне сейчас невозможно.

Посылаю сердечный привет моим юным друзьям в Барнаул. От всей души желаю всем вам самых лучших успехов в учебе, в труде, в личной жизни.

С дружеским крепким рукопожатием.

Виллис Лацис

Рига, 4/1 1961 г.

Дорогие друзья!

Я получил Ваше письмо и фотоснимки гор. Барнаула. Большое спасибо за новгороднее поздравление и добрые пожелания, а также за фотографии. Как мало похож новый Барнаул на тот город, который я когда-то знал! Прекрасным он стал за это время, и это очень хорошо. Сожалею, что у меня не сохранилось ни одной фотографии того времени и не могу вам взаимно ничего послать. Вместо старых снимков (которых у меня нет) посылаю вам свое новое фото, по которому видно, что я уже совсем не молодой.

Взаимно поздравляю вас, дорогие друзья, с Новым 1961 годом. От всей души желаю вам всего самого доброго и радостного.

С приветом В. Лацис

Рига, 26/IV. 1961 г.

Дорогие товарищи и друзья!

Получил Ваше письмо. Очень рад, что моя книга дошла до Вас.² Меня смущало то обстоятельство, что Вами не была указана фамилия того товарища, на имя которого следовало послать книгу.

Вы спрашиваете — если кто-нибудь из членов Вашего кружка летом побывает в Латвии, может ли он зайти ко мне. Конечно, может, если только буду сам в то

¹ Теперь ул. Папанинцев.

² Речь идет о повести В. Лациса «Земля и море», присланной литкружку в марте 1961 г.

время в Латвии (мне ведь иногда приходится уезжать то в Москву, то в другие места), и если не заболелю. Пусть не стесняются.

Поздравляю вас всех с праздником Первомая и от всей души желаю вам всего самого доброго.

С сердечным приветом

В. Лацис.

Рига, 20/VII 1962 г.

Уважаемая Людмила Михайловна!

Прошу передать членам литкружка мое сердечное спасибо за теплое письмо и добрые пожелания, а особенно за фотографию,² которую я недавно получил. Можно сказать, что теперь наша заочная дружба и знакомство наконец стала очной, и мы теперь можем друг друга зримо себе представить.

Поехать сейчас никуда не могу, не позволяет скверное состояние здоровья, но за приглашение в гости на Алтай большое спасибо. Места, где человек провел свою юность, никогда не забываются и всегда остаются самыми прекрасными и милыми.

Поселок, в котором я жил в 1919—1921 годах, назывался тогда Латвийским (Бийский уезд, Поповичевская волость), примерно в ста километрах от г. Бийска. Думаю, что этот поселок теперь распался (он был хуторского типа), а название теперь, конечно, другое. Старожилы, наверно, помнят его. Меня тогда называли Володькой-писарем. Может быть, кто-нибудь и помнит еще лохматого паренька, а может быть, и не помнит.

Шлю Вам, уважаемая Людмила Михайловна, сердечный привет, также всем членам литкружка, и самые добрые пожелания.

Ваш В. Лацис.

Рига, 8/VIII 1962 г.

Уважаемая Людмила Михайловна!

Получил Ваше письмо и документы из архива.³ Да, этот протокол действительно имеет непосредственное отношение ко мне: я был мобилизован для участия во Всероссийской переписи и месяца два работал в этом деле: переписал всех людей и все имущество нескольких сел и даже отличился на этом поприще. А тот, о котором так грозно говорится в протоколе (мой «врид»), был лодырем и увильнул от работы. После возвращения в протоколе (мой «врид»), был лодырем и увильнул от работы. После возвращения с переписи мне пришлось много потрудиться, чтобы ликвидировать завал...

Большое спасибо Вам за внимание и присылку этой выписки: она мне о многом напомнила.

Сердечный привет Вам и членам литкружка.

С искренним уважением

В. Лацис.

¹ Руководитель литкружка.

² Кружковцы сняты за чтением письма В. Лациса.

³ В. Лацису была послана выписка из протокола Латвийского сельсовета от 10 октября 1920 г., где говорится, что «сельский секретарь В. Лацис мобилизован при Всероссийской переписи», а исполняющий его обязанности работает недобросовестно, за что постановили дать ему выговор.

Рига, 5/IX 1962 г.

Уважаемая Людмила Михайловна!

Получил Ваше письмо. Лето идет к концу, а мы в Прибалтике в этом году почти не видели его: все дождь да ветры. Может быть, осень будет лучше.

Мой новый роман «После ненастья» в этом году на русском языке не выйдет: с января его начнут публиковать в журнале «Дружба народов», и только после этого его выпустит издательство «Молодая гвардия». Других литературных новостей у меня пока нет. Постараюсь подыскать для Вашего музея что-нибудь из прежних изданий моих произведений.¹

Буду весьма признателен Вам за фотокопию протокола², написанного когда-то мною, если только все это дело не представляет для Вас больших затруднений.

Поздравляю Вас и членов литкружка с началом нового учебного года и желаю всем вам наилучших успехов.

С сердечным приветом

В. Лацис

Рига, 3/X 1962 г.

Уважаемая Людмила Михайловна!

Ваше письмо и фотокопию из краевого архива получил. Большое спасибо Вам и товарищу Калашникову³ за этот документ, который напомнил о днях моей юности. Я сохранию его в своем личном архиве.

В Барнауле я жил сперва на ул. Пятая Алтайская. Номер дома не помню. Это был одноэтажный домик, всего две квартирки, и принадлежал семье Зоринных.⁴ В этой семье были два сына: Виктор, работал наборщиком в типографии, и Алеша (примерно моих лет), с которым я учился вместе в учительской семинарии. Весной 1918 года моя семья переехала на другую квартиру по ул. Льва Толстого, в погоревшую часть города недалеко от пристани на Оби. Номер дома не помню. Дом сгорел во время пожара и на его месте была построена временка. Принадлежал он какому-то латышу (фамилии не помню), и жил там дворник Сегленек — родственник владельца дома. Вероятно, там теперь выстроены новые дома. Вот все, что могу рассказать о «координатах» того времени.

Большой привет литкружковцам и Вам лично.

Ваш Лацис.

¹ Была прислана книга «Винновыне».

² Речь идет о переписном листе, заполненном В. Лацисом во время Всероссийской переписи 1920 г.

³ Калашников А. — в то время ученик 27-й школы, сделавший фотокопии документов.

⁴ Братья Зорины, Виктор и Алексей, по собранным литкружковцами сведениям, погибли в годы Великой Отечественной войны.



Юмористический рассказ

Кем быть?

В годы безоблачного детства и безмятежного отрочества у меня на этот счет сомнений не было. Мое ремесло будет только таким, которое принесет мне славу, известность, почет...

Продолжительный период я хотел стать полководцем. Непременно выдающимся. Таким, если сложить достоинства всех военно-начальников от Рамзеса I до Рокоссовского.

Ни одно уличное сражение с соседскими мальчишками не обходилось без моего участия. Правда, горечь поражений я испытывал гораздо чаще, чем радость побед. И вот однажды после жестокого разгрома, оставившего багровые следы на моей физиономии, воинственный дух покинул меня навсегда.

Тогда я решил стать писателем, предпочитая духовные испытания физическим. Едва научившись писать, я принялся за сочинение романа «Мама + папа = 15 лет супружеской жизни». Но завершить его не удалось. Мой труд обнаружила мама. Ознакомившись с его содержанием, она расщепила рукопись на атомы, а меня отправила на кухню отбывать наказание.

Там, уткнувшись носом в угол и почесывая место, отдававшее изрядную порцию критики, я раздумал заниматься литературой.

Место заключения я покидал с новыми планами. На этот раз я решил избрать профессию агронома.

Первыми о моем решении узнали фикус и комнатная роза. В результате опытов фикус почему-то облысел, а роза так вылиняла, будто ее выстирали в коммунальной прачечной.

Вторыми — мама и папа. Совместными усилиями они в течение часа отбивали у меня охоту к агрономическим исследованиям.

— ...Александр Михайлович!

Я оторвал взгляд от поджаривающихся котлет и обернулся.

— Что случилось, Вероника Асбестовна?

— Уже три часа, без двух минут. Открывать берлогу?

— Ну и выражения вы подбираете...

Я взглянул в ее глаза. Хотя бы песчинка раскаяния!

— Так открывать или нет?

— Конечно! — Я взялся за макароны и подливу...

Разумеется, моя мама тоже хотела, чтобы из меня получилось что-то необыкновенное. Правда, свои замыслы она тщательно маскировала. Но наступила пора, и тайное стало явью.



В то время я мечтал стать знаменитым дрессировщиком. Поскольку ни львов, ни тигров добыть мне не удалось, то первым, кого я принялся укрощать, оказался кот Буська.

Больше часа я бился над тем, чтобы кот в ответ на мое приветствие «С добрым утром, мышегуб!» подавал лапку и мяукал. Но Буська лишь тарасил раскалившиеся от злости глаза и шипел.

К исходу второго часа моему терпению пришел конец. Приговор был суровым. Хвост кота оказался зажатым между подошвой ботинка и полом.

Сквозь сочные каскады гамм и трезвучий я расслышал торопливые шаги мамы. Кот немедленно был амнистирован и, не мешкая, растворился под диваном.

Вошла мама.

— Сашенька, это ты только что пел «Вот цветет калина»?

Я не решился ее разочаровать.

— А кто еще? Буська, что ли?

Мама сияла.

— Чудесно! Замечательно! Завтра же пойдем в музыкальную школу. Мой сын будет вторым Бернесом!..

В музыкальной школе царило такое столпотворение, пред которым вавилонское выглядело бы микроскопическим и жалким. Мамы и папы пришли сюда со своими отпрысками, втайне надеясь, что из

них вырастут новые Шаляпины, Ойстрахи, Ростроповичи, Рихтеры. Ну, и, конечно, Бернесы.

Дверь, за которой проходили приемные испытания, распахнулась. В коридор вышла женщина и произнесла мою фамилию.

Мама потащила меня в аудиторию, непрерывно целуя и поглаживая по затылку.

— Как тебя зовут, мальчик? — услышал я голос старичка-профессора.

— Саша Авторучкин.

— Хорошо, Сашенька, очень хорошо. Спой нам какую-нибудь песенку.

Я запел, хрипя, как радио на вокзале:

— На дворе стоит мороз,
А у папы сивый нос.
Папа хлопнул двести грамм
И послал мороз к чер...

— Достаточно, — перебил меня профессор и подозвал маму. — К сожалению, ваш мальчик настолько бездарен, что даже я затрудняюсь определить насколько.



Начался поединок. Он длился около двух часов. Мама доказывала профессору несостоятельность, скоропостижность и ошибочность его выводов.

На третьем часу профессор сдался.

— Голубушка, не откажите в любезности, проверьте мальчика, — обратился он к ассистентке.

Голубушка попросила меня отвернуться и принялась колотить какую-то клавишу. Спросила: «Запомнил звук?» Я утвердительно кивнул.

Затем она отправилась в кругосветное путешествие по всей клавиатуре. После каждого удара спрашивала: «Этот?» Но мне все звуки казались одинаковыми. Я не улавливал между ними никакой разницы и решил молчать.

И тут я поймал полный отчаяния взгляд мамы. Не раздумывая, я сказал голубушке:

— Этот!

И, о счастье! Угадал!

— ...Александр Михайлович! — снова окликнули меня.

Опять кассирша. По молниям, вспыхнувшим в ее глазах, я догадался: неприятность.

— Там один тип, — она задыхалась, — требует вас и жалобную книгу.

— Наверное, макароны не совсем сварились, — с горечью заметил я. — Ничего не поделаешь.

Попросив помощницу присмотреть за котлетами, я пошел в зал, собираясь мужественно защищать честь своего мундира...



Комиссия определила меня в класс скрипки к педагогу А., который не смог опротестовать это решение, поскольку не присутствовал на экзамене.

Затем последовало десять долгих лет учебы.

ГОД ПЕРВЫЙ

Педагог. Он был убежден, что я являюсь ближайшим родственником профессора. Иначе объяснить

мое появление в музыкальной школе он не мог.

Мама. Весь год ее мучили сомнения. Она никак не могла решить, кто из меня получится. О Бернесе теперь не могло быть и речи. А в том, что я превзойду Ойстраха, она чуть-чуть сомневалась.

Папа. Качал головой — и все.

Соседи. Я был гордостью всего нашего подъезда. Только и слышалось:

— Бери пример, оболтус, с Сашеньки!

— Сашок — молодчина! Вырастет, станет композитором и прописка в Москве ему обеспечена.

Я. Меня удивляли мамины сомнения. Ну что такое Ойстрах? Подумаешь!

ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Педагог. На протяжении всех предыдущих лет учебы он деликатно намекал, что лавры в музыке мне мог бы принести барабан.

Мама. Передко жаловалась на головные боли и расшатанные нервы, не называя причины.

Папа. Как только я брал в руки скрипку, запирался в ванной.

Соседи. К тому времени их мнения разделились. Те, кто жил подале от нашей квартиры, продолжали пророчить мне блестящее будущее. Жившие от нас в непосредственной близости потребовали, чтобы я занимался на чердаке или в подвале.

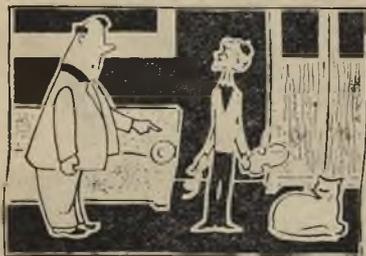
Я. Интересовался вопросом, может ли один человек занять все лауреатские места на конкурсе имени Чайковского.

ГОД СЕДЬМОЙ

Педагог. Перед тем, как провести со мной урок, выпивал полный флакон валерианки.

Мама. Перестала заглядывать в мое будущее.

Папа. Перешел на постоянную жизнь в ванной. Однажды я нашел скрипку, разломанную пополам. Папа сумел доказать, что это работа Буськи.



Соседи. Их мнение снова стало еди-
нодушным. Они нередко жаловались
жильцам из других подъездов:

— Хоть убегай из дому.

— Даже тараканы — и те исчезли.

Я. Полный оптимизм.

ГОД ДЕВЯТЫЙ

Педагог заявил: «Если бы ты был бревном, я еще мог бы что-либо из тебя выстругать, но перед куском ржавого рельса я бессилён». Меня перевели в класс контрабаса. Ни одна из многочисленных маминых контртак не увенчалась успехом. Директор оказался на редкость мужественным человеком, с крепкими нервами и железным здоровьем.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД УЧЕБЫ

Новый педагог. После окончания школы посоветовал мне устроиться работать на шахту.

Мама. Произнесла наконец фразу, которую не решалась сказать раньше: «Кажется, я немного ошиблась».



Папа. Подал заявление о разводе, о разделе имущества и о размене квартиры.

Соседи. Жившие справа — переехали на чердак. Проживающие слева — в подвал.

Я. Готовился в консерваторию. Когда провалился с треском, вспомнил афоризм: «Гений обычно оценивается после смерти». И пошел с горя работать в столовую.

...За столиком, на который указывала кассирша, спиной ко мне сидел мужчина. Его вытянутая, подобно эллипсу, голова показалась мне знакомой.



Когда я подошел к столику, он обернулся.

Это был... профессор!

Мы с минуту оцупывали друг друга изумленными взглядами.

— Так это вы? — наконец произнес он.

— Да, — подтвердил я.

Вновь наступила пауза.

— Значит, вы работаете поваром закуской?

— Да, — жалко улыбнулся я. — что, макароны не доварились?

Колочая проволока морщин на лице профессора разгладилась и по нему заскользила добродушная, не предвещающая конфликта, улыбка.

— Послушайте, да ведь вы — гений!

Да, да, гений! Ваши макароны по-флотски — настоящий шедевр! Вторую неделю моя жена на курорте, и я все эти дни питаюсь у вас. Это великолепно!

Это замечательно! Позвольте пожать вашу руку!..

Так кто говорил, что мое будущее не будет прекрасным? Вот что значит правильно выбрать профессию!

Новые рассказы

Иван ОЛИФЕРОВ
Нинель БЕЖИНА
Геннадий КСМРАК

Бийск поэтический

Стихи Георгия РЯ
ЧЕНКО, Михаила

Люди наших дней

В. СЕРЕБРЯНИН
В. РАМЕНСКИЙ

Навстречу 50-летию

П. ПАРФЕЮВ, П.
Георгий ЕДРОВ

Проблемы, размышления

А. АШКИАЗИ,
А. УМАНСКИЙ

Прочитайте все

Бруно ТРАВЕН

СОДЕРЖАНИЕ

Новые рассказы

- Иван ОЛИФЕРОВСКИЙ. Друг и подруга 3
Нинель БЕЙЛИНА. Плюс и минус 13
Геннадий КОМРАКОВ. Калики-моргалики 21

Бийск поэтический

- Стихи Георгия РЯБЧЕНКО, Ивана МЕЛИКОВА, Виталия ШЕВ-
ЧЕНКО, Михаила ДЛУГОВСКОГО 34

Люди наших дней

- В. СЕРЕБРЯНЫЙ. Народный. Очерк 43
В. РАМЕНСКИЙ. Алтайская книжная графика 48

Навстречу 50-летию Октября

- П. ПАРФЕНОВ. Поход на Гатчину 52
Георгий ЕГОРОВ. Человек удивительной судьбы 83

Проблемы, раздумья, споры

- А. АШКИНАЗИ. Любимый город — красивый город 87
А. УМАНСКИЙ. Безмолвные стражи алтайских стел 93

Прочитайте верующим

- Бруно ТРАВЕН. Обращение в христианство. Рассказ 117

Читатели, писатели, книги

А. БАЗДЫРЕВ. Новые имена, новые книги 122

Наши публикации

Письма Вилкса ЛАЦИСА 129

С улыбкой

А. ЩЕРБАКОВ. Выбор профессии. Юмористический рассказ 133

Иллюстрации художника *В. Кузнецова*
Технический редактор *В. Карпова*
Художественный редактор *В. Раменский*
Корректор *Э. Махотина*

Сдано в набор 22. IV. 1966 г. Подписано к печати 3. VI. 1966 г.
Формат 70×90^{1/16} — 8,75=10,24 усл. п. л. (9,66 уч.-изд. л.)
Тираж 5000 экз. АГ 08870. Заказ 1127. Цена 40 коп.

Алтайское книжное издательство. Барнаул, Ленина, 76.
Типография № 1 Управления по печати. Барнаул, Льва Толстого, 29.

. 122

. 129

й рассказ

. 133

8

цова
ова
енский

ати 3. VI. 186 г.
9,66 уч.-изд. л.)
ена 40 коп.

Ленина, 5.
Льва Толстого, 29.

Электронная библиотека АКУНБ, elilib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru